М.АГЪЕВЪ РОМАНЪ СЪ КОКАИНОМЪ



М. АГЪЕВЪ

РОМАНЪ съ КОКАИНОМЪ

PIERRE BELFOND

216, boulevard Saint-Germain 75007 Paris

ГИМНАЗІЯ

Буркевицъ отказалъ.

1.

Однажды, въ началь октября, я — Вадимъ Маслевниковъ (мнв шелъ тогда шестнадцатый годъ), рано утромъ, уходя въ гимназію, забылъ съ вечера еще положенный матерью въ столовой конвертъ съ деньгами, которые нужно было внести за первое полугодіе. Вспомнилъ я объ этомъ конвертъ, уже стоя въ трамваъ, когда — отъ ускоряющагося хода — акаціи и пики бульварной ограды изъ игольчатаго мельканія вошли въ сплошную струю, и нависавшая мнв на плечи тяжесть все твснве прижимала спину къ шиккелированной штангв. Забывчивость моя, однако, нисколько меня не обезпокоила. Деньги въ гимназію можно было внести и завтра, въ домъже стащить ихъ было некому; кромв матери въ квартиръ жила за прислугу лишь старая нянька моя Степанида, бывшая въ домъ уже больше двадцати лътъ, и единственной слабостью, а можеть быть даже страстью которой, были ея безпрерывныя и звонкія, какъ щелканья подсолнуховъ, шушуканья, при помощи которыхъ, за неимѣніемъ собесъдниковъ, вела она сама съ собой длиннъйшіе разговоры, а подчасъ даже и споры, изръдка прерывая себя громкими, въ голосъ, восклицаніями, какъ-то: «нуда»! или «еще бы»! или «открывай карманъ шире»! Въ гимназіи же я объ этомъ конверть и вовсе забыль. Въ

этотъ день, что впрочемъ отнюдь не часто случалось, уроки были не выучены, готовить ихъ приходилось частью за время перемънъ, частью даже тогда, когда преподаватель находился въ классъ, и это жаркое состояние напряженности вниманія, въ которомъ все съ такой легкостью усваивалось (хоть и съ такой же легкостью, спустя день, забывалось), весьма сцособствовало вытряхиванію изъ памяти всего посторонняго. Только когда началась большая перемвна, когда всвхъ насъ по случаю холодной, но сухой и солнечной погоды, выпускали во дворъ и на нижней площадкъ лъстницы, я увидълъ мать, то тогда только вспомнилъ про конвертъ и про то, что видно она не стерпъла и принесла его съ собой. Мать одиноко стояла въ сторонкъ въ своей облысъвшей шубенкъ, въ смъшномъ капоръ, подъ которымъ висъли съдые волосики (ей было тогда уже пятьдесять семь льть), и съ замътнымъ волненіемъ, какъ-то еще больше усиливавшимъ ея жалкую внъшность, безпомощно вглядывалась въ бъгущую мимо ораву гимназистовъ, изъ которыхъ нъкоторые, смъясь, на нее оглядывались и что-то другъ другу говорили. Приблизившись, я хотълъ было незамътно проскочить, но мать, завидя меня и сразу засвътясь ласковой, но не веселой, а покорной улыбкой. позвала меня — и я, хоть мнв и было ужасъ какъ стыдно передъ товарищами, подощелъ къ ней. — Вадичка, мальчикъ, — старчески глухо заговорила она, мнъ конвертъ и желтенькой ручкой боязливо, словно она жглась, касаясь пуговицы моей шинели; — ты забылъ деньги, мальчикъ, а я думаю испугается, такъ вотъ принесла. Сказавъ это, она посмотръла на меня, будто просила милостыни, но въ ярости за причиненный мнъ позоръ. я ненавидящимъ шопотомъ возразилъ, что нъжности телячьи эти намъ не ко двору, и что ужъ коли не стерпъла и деньги принесла, такъ пусть сама и платитъ. Мать стояла тихо, слушала молча, виновато и горестно опустивъ старые свои ласковые глаза, - я-же, сбъжавъ по уже опустывшей лыстницы и открывая тугую, шумно сосущую воздухъ дверь, коть и оглянулся и посмотраль на мать, однако, сдалаль это не потому вовсе, что мна стало ее сколько нибудь жаль, а всего лишь изъ бозни, что она въ столь неподходящемъ маста расплачется. Мать все также стояла на верхней площадка и, печально склонивъ свою уродливую голову, смотрала мна всладъ. Замативъ, что я смотрю на нее, она помахала мна рукой и конвертомъ такъ, какъ это далаютъ на вокзала, и это движеніе, такое молодое и бодрое, только еще больше показало, какая она старая, оборванная и жалкая.

На дворъ, гдъ ко мнъ подошли нъсколько товарищей и одинъ спросилъ, — что это за шутъ гороховый въ юбкъ, съ которымъ я только-что бесъдовалъ. - я, весело смъясь, отвътилъ, что это общищавшая гувернантка, что пришла она ко мив съ письменными рекомендаціями, и что если угодно, то я съ ней познакомлю: они смогуть за ней не безъ успъха поухаживать. Высказавъ все это, я, не столько по сказаннымъ мною сколько по отвътному хохоту, который они вызвали, почувствовалъ, что это слишкомъ даже для меня, и что говорить этого не следовало. Когда же, уплативъ деньги, мать вышла и, ни на кого не глядя, сгорбившись, словно стараясь стать еще меньше, быстро, какъ только могла, стукая стоптанными, совствить кривыми каблучками, прошла по асфальтовой дорожкъ къ воротамъ, -- я почувствовалъ, что у меня болитъ за нее сердце.

Боль эта, которая столь горячо ожгла меня въ первое мгновеніе, длилась, однако, весьма недолго, причемъ отчетливое ея изсяканіе, и значитъ полное исцъленіе мое отъ этой боли произошло какъ-бы въ два пріема: когда я, вершувшись изъ гимназіи домой, вошелъ въ переднюю и прошелъ по узкому коридорчику нашей бъдной квартирки. гдъ шибко пахло кухней, къ себъ въ комнату боль эта, хоть и переставъ уже больть, все еще какъ-то напоминала о томъ, какъ она часъ тому назадъ больла; и дальше, когда придя въ столовую я сълъ къ столу и

передо мною съла мать, разливая супъ, — боль эта меня уже не только не безпокоила, но мнъ даже и представить себъ было трудно, что она когда либо могла меня тревожить.

Но только я почувствоваль себя облегченнымъ, какъ множество злобныхъ соображеній начали волновать меня. И то, что такой старой старух в надобно понимать. что она только срамитъ меня своей одеждой. — и то, что недачъмъ ей было шляться въ гимназію съ конвертомъ — и то, что она заставила меня лгать, что лишила меня возможности пригласить къ себъ товарищей. Я смотрълъ, какъ она ъла супъ, какъ, поднимая ложку дрожащей рукой, проливала часть обратно въ тарелку, я смотрълъ на ея желтыя щечки, на морковный отъ горячаго супа носъ, видълъ, какъ она послъ каждаго глотка бъловатымъ языкомъ слизываетъ жиръ, и остро и жарко ненавидълъ ее. Почувствовавъ, что я смотрю на нее, мать, какъ всегда нъжно взглянула на меня своими выцвътающими карими глазами, положила ложку и, будто этимъ своимъ взглядомъ понуждаемая хоть что нибудь сказать, — спросила: вкусно? Она сказала это слово съ подыгрываніемъ подъ ребенка, при этомъ съ вопрошающимъ утвержденіемъ мотнувъ мнв свдой головкой. — Ффкюсиэ, — сказалъ и я, не подтверждая и не отрицая, а передразнивая ее. Я произнесъ это ффкюсиэ съ отвращающей гримасой, словно меня сейчасъ вытошнить, и наши взгляды — мой холодный и ненавидящій, — ея, теплый, открытый внутрь и любящій, встрітились и слились. Это продолжалось долго, я отчетливо видаль, какъ взглядъ ея добрыхъ глазъ тускиветъ, становится недоумввающимъ, потомъ горестнымъ, - но чъмъ очевиднъе становилась мнв моя побъда, твмъ менве ощутимымъ и понятнымъ казалось то чувство ненависти къ этому любящему и старому человъку, силой котораго эта побъда Въроятно, поэтому-то я и не выдержаль, достигалась. первымъ опустилъ глаза и взялъ ложку и началъ ъсть. Но когда внутренне примиренный, желая сказать что-то

ничего незначущее ,я снова поднялъ голову, то уже ничего не сказалъ и невольно вскочилъ. Одна рука матери съ ложкой супа лежала прямо на скатерти. На ладонь другой, подпертой локтемъ о столъ, она положила голову. Узкія губы ея, перекосивъ лицо, взбирались на щеку. Изъ коричневыхъ впадинъ закрытыхъ глазъ, въерами тянувшихъ морщины, текли слезы. И столько беззащитности было въ этой желтой, старенькой головкъ, столько незлобиваго горькаго горя, и столько безнадежности отъ этой никому ненужной теперь ея гадкой старости. — что я, все косясь на нес, уже подозрительно грубымъ голосомъ сказалъ — ну, не надо, — ну, брось, — въдь не о чемъ, — и хотълъ было уже прибавить -- мамочка - и можеть быть даже подойти и поцеловать ее, какъ въ этотъ самый моментъ съ внъшней стороны, съ коридора, нянька, балансируя на одномъ валенкъ, пхнула другимъ въ дверь и внесла блюдо. Не знаю для кого это ужъ и зачъмъ, но только тутъ-же я хватилъ кулакомъ по тарелкъ, и болью пораненной руки и облитыми супомъ брюками окончательно увърованный въ своей правотъ, справедливость которой какъ-то туманно покрыплялась чрезвычайнымъ испугомъ няньки. — я. гроэно выругавшись пошель къ себъ въ комнату.

Вскор в посл в этого мать одвлась, куда-то ушла и вернулась домой лишь подъ-вечеръ. Заслышавъ, какъ она прямо изъ шередней простукала по коридору къ моей двери, постучала и спросила — можно, — я бросился къ письменному столику, посп шно раскрылъ книгу и, свъ спиной къ двери, скучно сказалъ — войди. Пройдя комнагу и нерышительно подойдя ко мн сбоку, при чемъ я, будто углубленный въ книгу, видвлъ, что она еще въ шубк и въ черномъ своемъ см шномъ капор в, мать, вынувъ руку изъ за пазухи положила мн на столъ дв смятыхъ, словно желающихъ стыдливо уменьшиться, пятирублевыхъ бумажки. Погладивъ зат въ своей скрюченной ручкой мою руку, она тихо сказала: Ты ужъ прости менямой мальчикъ. Ты в в дь хорошій. Я знаю. И погладивъ

меня по волосамъ и чуть призадумавшись, будто еще чтото хотъла сказать, но не сказавъ ничего, мать на цыпочкахъ вышла, тихочько прищелкнувъ за собою дверь.

2.

Вскорѣ послѣ этого я заболѣлъ. Первый мой немалый испугь былъ однако тотчасъ пріутишенъ дѣловитой веселостью врача, адресъ котораго я наугадъ выискалъ среди объявленій венерологовъ, заполнявшихъ въ газетѣ чуть ли не цѣлую страницу. Свидѣтельствуя меня, онъ совершенню также, какъ нашъ словесникъ, когда получалъ неожиданно хорошій отвѣтъ отъ сквернаго ученика, въ почтительномъ удивленіи расширилъ глаза. Похлопавъ затѣмъ меня по плечу, онъ тономъ не утѣшемія — это меня бы разстроило, — а спокойной увѣренности своей силы, добавилъ: — не горюйте, юноша, за одинъ мѣсяцъ все поправимъ.

Вымывъ руки, написавъ рецепты, сдълавъ мит необходимыя указаніи и не взглянувъ на рубль, положенный мною неловко косо и потому звентый все учащаясь и ужъ прямо переходя въ дробь, по мтрт того, какъ онъ ложился на стеклянномъ столт, — врачъ, вкусно колупнувъ въ носу, отпустилъ меня, предупредивъ при этомъ со столь нешедшей къ нему хмурой озабоченностью, — что быстрота моего выздоровленія, какъ и мое выздоровленіе вообще, всецтью зависятъ отъ точности моихъ постычній, и что самое лучшее, если я буду приходить ежедневно.

Несмотря на то, что уже въ ближайшіе дни я убъдился, что эти ежедневныя посъщенія отнюдь не являются необходимостью, и что со стороны врача это обычный прісмъ, чтобы участить звененіе моего рубля въ его кабинеть, я все же ходилъ къ нему ежедневно, ходилъ просто потому, что это доставляло мнъ удовольствіе. Было въ этомъ коротконогомъ, толстомъ человъчкъ, въ его сочномъ баскъ, словно съълъ онъ что-то вкусиое, въ

складкахъ его жирной шеи, напоминавшихъ велосипедныя другъ на друга положенныя шины, въ его веселыхъ и хитрыхъ глазкахъ, вообще во всемъ его обращеніи со мной что-то шутливо похваляющееся, одобряющее и еще что-то трудно уловимое, но такое, что мнѣ пріятно льстило. Это былъ первый уже въ лѣтахъ и слѣдственно «большой» человѣкъ, который видѣлъ и понималъ меня какъ разъ съ той стороны, съ которой я себя тогда хотѣлъ показать. И я ходилъ къ нему ежедневно, не ради него, не какъ къ врачу, а какъ къ пріятелю, первое время даже съ нетерпѣнімъ дожидаясь назначеннаго часа, надѣвая при этомъ, какъ на балъ, новую тужурку, брюки и лакированныя лодочки.

Въ эти дни, когда, желая установить за собою репутацію эротическаго вундеркинда, я разсказаль въ классь, какой я больль бользнью (я сказаль, что бользнь прошла, въ то время какъ она только начиналась), въ эти дни, когда я нисколько не сомнывался, что разсказавъ подобное — я весьма выигрываю въ глазахъ окружающихъ, — въ эти-то дни и совершилъ я этотъ ужасный проступокъ, слъдствіемъ котораго была искальченная человьческая жизнь а можетъ быть даже и смерть.

Недъли черезъ двъ, когда внъшніе признаки бользни поослабли, но когда я очень хорошо зналъ, что все еще боленъ, — я вышелъ на улицу, думая пройтись или пойти въ кинтошку. Былъ вечеръ, была середина ноября, — это изумительное время. Первый пушистый снъгъ, словно осколки мрамора въ синти водъ, медленно падалъ на Москву. Крыши домовъ и бульварныя клумбы вздуло голубыми парусами. Копыта не цокали, колеса не стучали и въ стихнувшемъ городъ по весеннему волновали звоны трамваевъ. Въ переулкъ, гдъ я шелъ, я нагналъ шедшую впереди меня дъвушку. Я нагналъ ее не потому, что хотълъ этого, а просто потому лишь, что шелъ быстръе ея. Но когда поровнявшись и обходя ее, я провалился въ глубокій снъгъ, — то она оглянулась, и наши взгляды встрътились, а глаза улыбнулись. Въ такой жаркій мосто

ковскій вечеръ, когда падаетъ первый снѣгъ, когда щеки въ брусничныхъ пятнахъ, а въ небѣ сѣдыми канатами стоятъ провода, въ такой вечеръ гдѣ-же взять эту силу и хмурость, чтобы уйти промолчавъ, чтобы никогда уже не встрѣтить другъ друга.

Я спросилъ, какъ ее зовутъ и куда она идетъ. Ее звали Зиночкой и шла она не «куда», а «просто такъ себъ». На углу, куда мы подходили, стоялъ рысакъ; санки высокія — рюмочкой, громадная лошадь была прикрыта бълой попоной. Я предложилъ прокатиться и Зиночка. блестя на меня глазками, губы пуговкой, по дътски часто-часто закивала головой. Лихачъ сильлъ бокомъ къ намъ, нырнувъ въ выгнутый вопросительнымъ передокъ саней. Но, когда мы подошли, чуть ожилъ, и ведя насъ глазами, словно цълился въ движущуюся мишень, хрипло выстрълилъ: — пажа, пажа, я васъ катаю. И видя, что попаль, и что нужно взять подстръленныхъ, выльзъ изъ саней и безногій, зеленый и громадно-величественный, въ бълыхъ перчаткахъ съ дътскую голову, въ усъченномъ онъгинскомъ цилиндръ съ пряжкой, подходя къ намъ, добавилъ, — прикажите прокатить на ръзвой, ваше благородіе.

Теперь началось мучительное. Въ Петровскій паркъ и обратно въ городъ онъ запросилъ десять рублей, и хотя у «его благородія» въ карманв было всего пять съ полтиной, — я не задумываясь свлъ бы "полагая въ тв годы любое мошенничство меныцимъ позоромъ, чвмъ необходимость торговаться съ извощикомъ въ присутствіи дамы. Но положеніе спасла Зиночка. Сдвлавъ возмущенные глазки, она рышительно заявила, что цвна эта неслыханная и чтобы больше зелененькой я бы не смвлъ ему давать. И при этомъ, держа меня за руку, тащила прочь. Она меня тащила прочь, — я же уходя слегка упирался, этимъ упираніемъ какъ бы снимая съ себя в перенося на Зиночку всю стыдность положенія. Выходило такъ, будто я здвсь не при чемъ, и ужъ, конечно, готовъ заплатить любую цвну.

Пройдя шаговъ съ двадцать, Зиночка черезъ мое плечо съ вороватой осторожностью оглянулась, и завидя, что попона спъшно снимается съ лошади — она, чуть не визжа оъ восгорга, заходя мнв навстръчу и становясь на цыпочки, восторженно шептала: — онъ согласенъ, онъ согласенъ, (она безшумно зааплодировала), — онъ сейчасъ подаетъ. Вы тепреь видите, какая я умница (она все старалась заглянуть мнв въ глаза), видите, правда, ага!

Это «ага» очень для меня пріятно звучало. Выходило такъ, будто я элегантный кутила, богачъ и мотъ, а она, бъдная и нищая дъвочка, сдерживаетъ меня въ моихъ тратахъ, и не потому, конечно, что траты эти мнъ не по силамъ, а потому лишь, что въ тъсномъ кругозоръ своего нищенства, она, она, бъдненькая, не можетъ постигнуть допустимость такихъ тратъ.

У слъдующаго перекрестка лихачъ нагналъ насъ, перегналъ и, сдерживая рвущаго рысака, какъ руль справа налъво дергая возжи и ложась на сани спиной, отстегнулъ полость. Усаживая Зиночку и медленно, хоть и хотълось спъшить, переходя на другую сторону, я взобрался на высокое и узенькое сидънье, и заложивъ тугую бархатную петлю за металлическій палецъ, обнявъ Зиночку и кръпко, словно собираясь драться, потянувъ за козырекъ, гордо сказалъ: — трогай.

Раздался лвнивый подвлуйный звукъ, лошадь чуть дернула, сани медленно пополэли, и я уже чувствовалъ, какъ во мнв все дрожитъ отъ извощичьяго этого издвавтельства. Но когда черезъ два поворота вывхали на Тверскую-Ямскую, лихачъ вдругъ шодобралъ возжи и крикнулъ — эээпъ, — гдв острое и стальное «э» пронзительно поднималось вверхъ, пока не ударило въ мягкую заграду не пускающую дальше «п». Сани страшно дернуло, насъ бросило назадъ съ поднятыми колвнями и тотчасъ впередъ лицомъ въ ватную спину. А навстрвчу уже мчалась вся улица, мокрые снъжные канаты больно стегали по щекамъ, по глазамъ, — на мгновенья лишь встрвчные взывали трамваи, и снова эпъ, эпъ, — но остро и отры-

висто, какъ хлыстъ, и потомъ съ радостно элобнымъ блеяніемъ — балууууй, и черныя вспышки встръчныхъ саней съ мучительнымъ ожиданіемъ оглобли въ морду, и чокъ, чокъ, звенъли броски снъга съ копытъ о металлическій передокъ, и дрожали сани, и дрожали наши сердца. — Ахъ, какъ хорошо, — шепталъ подлъ меня въ мокромъ хлещущемъ дождъ дътскій, восторженный голосокъ. — Ахъ, какъ чудно, какъ чудно. И мнъ тоже было «чудно». Только, какъ всегда, я всъми силами упирался и противился этому разбушевавшемуся во мнъ восторгу.

Когда промахнули Яръ и стала видна вышка трамвайной станціи и заколоченная кондитерская будка, у провзда къ кругу лихачъ прилегъ на насъ спиной и, туго осаживая лошадь, отрывисто припввалъ кроткимъ бабьимъ голоскомъ — пр..., пр..., пр.:: Шагомъ въвхали въ провздъ, сныгъ сразу пересталъ и только вокругъ одинокаго желтаго фонаря онъ вяло леталъ и не падалъ, словно тамъ вытряхивали перину. За фонаремъ въ черномъ воздухъ стояла вывъска на столбахъ, а рядомъ съ ней кулакъ съ вытянутымъ указательнымъ пальцемъ, въ манжетъ и съ кусочкомъ рукава, косо приколоченный къ дереву. По пальцу ходила ворона, ссыпая снъгъ.

Я спросилъ Зиночку, не холодно ли ей. — Мнв чудно, — сказала она, — ввдь правда, это чудно, а? Вотъ возьмите погрвите мнв ручки. Я отклеилъ отъ ея талів шибко ноющую въ плечв руку. Съ козырька текло на щеку и за воротникъ, наши лица были мокры, подбородокъ и щеки такъ морозно стянуло, что говорить приходилось съ лицомъ неподвижнымъ, брови и рвсницы клеились въ ледяныхъ сосулькахъ, плечи, рукава, грудь и полость покрыла ледяная похрустывавшая корочка, паръ отъ насъ и отъ лошади шелъ, будто въ насъ кипвло, а щеки у Зиночки стали уже такими, словно наклеили ей красную яблочную кожуру. На пустынномъ кругу было все бвлое и голубое, и въ этомъ бвломъ и голубомъ, въ ихъ нафталиновомъ блескъ, въ этой неподвижной, точно комнатной

тишинъ, я увидълъ свою тоску. Мнъ вспомнилось, что черезъ нъсколько минутъ мы будемъ въ городъ, что надо вылъзать изъ саней, идти домой, возиться съ грязной бользнью, а завтра въ темнотъ вставать, и мнъ перестало быть чудно.

Странно было въ моей жизни. Испытывая счастье, достаточно было только подумать о томъ, что счастье это ненадолго, какъ оно въ то-же мгновеніе кончалось. Кончалось ощущеніе счастья не шотому вовсе, что внішнія условія, создавшія это счастье, обрывались, а лишь отъ сознанія того, что внішнія условія эти весьма скоро и непремінно оборвутся. И какъ только являлось мніть это сознаніе, такъ въ то-же мгновеніе счастья уже больше не было, — а создавшія это счастье внішнія условія, которыя все еще не обрывались, все еще продолжали существовать — уже только раздражали. Когда вытали съ круга обратно на шоссе, мніть уже желалось только одного: скортье быть въ городть, вылітьть изъ саней и расплатиться.

Обратно вхать было холодно и скучно. Но, когда подъвхавъ къ Страстному, лихачъ, обернувшись, спросилъ — вхать-ли дальше и куда, — то, вопросительно взглянувъ на Зиночку, я сразу почувствовалъ, какъ сердце мое привычно и сладко остановилось. Зиночка смотрвла мнв не въ глаза, а на мои губы твмъ свирвпо безсмысленнымъ взглядомъ, смыслъ котораго мнв хорошго былъ извъстенъ. Привставъ на счастливо затрясшихся колвнахъ, я на ухо сказалъ лихачу, чтобы везъ къ Виноградову.

Было бы совершенной неправдой сказать, что за эти нъсколько минутъ, которыя потребовались, чтобы доъхать до дома свиданій, меня нисколько не безпокоило, что я боленъ, и что собираюсь Зиночку заразить. Тъсно прижимая ее къ себъ, я даже непрестанно объ этомъ думалъ, но думая объ этомъ, — страшился не отвътственности передъ самимъ собой, а только тъхъ непріятностей, которыя за такой проступокъ мнъ могутъ нанести другіе.

И какъ это почти всегда въ такихъ случаяхъ бываетъ, такая боязнь, нисколько не сдерживая отъ совершенія проступка, только побуждала свершить его такъ, чтобы никто не узналъ о виновникъ.

Когда сани стали у этого рыжаго съ законопаченными окнами дома, я попросилъ лихача въвхать внутрь. Чтобы въвхать въ ворота нужно было подать сани назадъ къ бульварной оградъ, — но когда мы были уже въ воротахъ, полозья, шипнувъ, връзались въ асфальтъ, сани стали поперекъ тротуара, и эти нъсколько секундъ, пока вязла лошадъ и рывкомъ внесла насъ во дворъ, случившеся здъсь прохоже обходили сани и съ любопытствомъ разглядывали насъ. Двое даже остановились и это замътно повлено на Зиночку. Она какъ-то сразу отстранилась, стала чужой и обиженно безпокойной.

Пока Зиночка, сойдя съ саней, отошла въ темный уголъ двора, — я, расплачиваясь съ лихачемъ, который настоятельно требовалъ прибавки, съ непріятностью вспоминаль, что у меня остается только два съ половиной рубля, и что возможно, если дешевыя комнаты будуть заняты, мив не хватить пятидесяти копвекъ. Заплативъ лихачу и подойдя къ Зиночкъ, я уже по одному тому, какъ она шибко теребила сумочку и возмущенно дергала плечикомъ — почувствовалъ, что такъ, сейчасъ, съ мъста - она не пойдетъ. Лихачъ уже увхалъ и отъ круто повернутыхъ саней оставилъ проутюженный кругъ. Тъ двое любопытныхъ, что остановились при нашемъ теперь зашли во дворъ, стояли поодаль и наблюдали. Ставъ къ нимъ спиной такъ, чтобы Зиночка ихъ не видъла, обнявъ ее за плечики и обзывая ее и крошкой, и маленькой, и дъвочкой, я говорилъ ей слова, которыя были бы лишены всякаго смысла, если бы не произносились елейнымъ голосомъ, звукъ котораго, какъ-то самъ по себъ, сдълался сладокъ какъ патока. Почувствовавъ. что она сдается, что становится прежней Зиночкой, хоть и не той, что такъ страшно (какъ мнв показалось) глянула на меня у Страстного, — а той, что въ паркъ говорила «чуд-

но, ахъ, какъ чудно», — я нескладно и сбивчиво началъ говорить ей о томъ, что у меня въ карманъ цълыхъ сто рублей, что здъсь ихъ не размъняють, что мнъ нужны пятьдесять копрекь, что черезь несколько минуть верну ихъ, что... Но Зиночка, не давъ мив договорить, съ пугливой поспъшностью быстро-быстро раскрыла свою старенькую клеенчатую подъ крокодилъ сумочку, достала крохотный кошелечекъ и вывернула его надъ моей ладонью. Я увидьль горсточку крошечныхъ серебряныхъ пятачковъ, бывшихъ какъ бы некоторой редкостью, и вопросительно взглянуль на Звеночку. — Ихъ какъ разъ десять, успокаивающе сказала она, и потомъ жалко съежившись, какъ бы извиняясь, стыдливо добавила: очень долго я ихъ все собирала; говорятъ, они къ счастью. — Но крошка, — возразиль я въ благородномъ возмущеній, — это право тогда жаль. Возьми ихъ. обойдусь. Но Зиночка, уже по настоящему сердясь, морщилась отъ усилія замкнуть ручками мою ладонь. — Вы должны взять, — говорила она. — Вы должны. Вы меня обидите.

Пойдеть или не пойдеть, пойдеть или откажеть. — воть было то единственное, что волновало мои мысли, мои чувства, все мое существо, въ то время какъ я, какъ бы невзначай, подводиль Зиночку къ гостиничному подъвзду. Взойдя на первую ступень, она словно очнувшись, остановилась. Въ тоскъ глянула на открытыя ворота, гдъ все еще, точно непропускавшіе стражи, стояли тъ двое; потомъ, какъ передъ разставаніемъ, взглянула на меня, улыбнулась жалко, и, опустивъ голову, вся какъ-то сгорбившись, закрыла лицо руками. Высоко, у самой подмышки кръпко схвативъ ее за руку, я втащилъ ее вверхъ по лъстницъ и протолкнулъ въ услужливо раскрытую швейцаромъ дверь.

Когда черезъ часъ, или сколько тамъ, мы снова вышли, то еще во дворъ я спросилъ Зиночку, въ какую ей сторону надо идти, чтобы, обозначивъ свой домъ въ направленіи противоположномъ, тутъ-же у воротъ навсе-

гда съ ней распроститься. Такъ поступалось всегда по выходь отъ Виноградова.

Но если къ такимъ разставаніямъ навсегда меня обычно побуждала сытая скука, а подчасъ и гадливость, — чувства, которыя (хоть я и эналъ, что черезъ день пожалью) мышали повърить, что завтра эта дъвочка снова сможетъ стать желанной, — то теперь, отсылая Зиночку, я испытывалъ только досаду.

Я испытываль досаду, потому что въ номеръ, за перегородкой, зараженная мною Зиночка не оправдала надеждъ, продолжая оставаться все той-же восторженной и потому безполой, какъ и тогда, когда говорила — ахъ. какъ чудно. Раздътая, она гладила мои щеки, приговаривая — ахъ, ты моя любонька, ты моя дапочка. — голоскомъ, звенъвшимъ дътской, ребяческой нъжностью. - и нъжность эта, не кокетливая, нътъ, а душевная. — совъстила меня, не дозволяя целикомъ выказать себя въ томъ. что принято называть безстыдствомъ, хоть это и ошибочно, ибо главная и жаркая прелесть человьческой порочности — это преодольніе стыда, а не его отсутствіе. Сама того не зная, Зиночка мъщала скоту преодольть человъка, и потому теперь, чувствуя неудовлетворенность и досаду, я все это происшествіе обозначаль однимъ словомъ: эря. Зря я заразилъ дъвченку — думалъ и чувствовалъ я, но это зря понималъ и чувствовалъ такъ, словно совершилъ дъло не только не ужасное, а даже напротивъ, какъ бы принесъ какую-то жертву, ожидая взамънъ получить удовольствіе, котораго воть не получиль.

И только, когда уже стоя въ воротахъ, Зиночка, чтобы не потерять, заботливо запрятала клочекъ бумажки, на которомъ я записалъ будто бы свое имя и первый взбредшій мнв номеръ телефона, — только, когда попрощавшись и поблагодаривъ меня, Зиночка стала отъ меня уходить, — да, только тогда вңутренній голосъ, но не тотъ самоувъренный и нахальный, которымъ я въ своихъ воображеніяхъ, лежа на диванв, мысленно обращался ко внъшнему міру, — а спокойный и незлобивый, который бесъдоваль и обращался только ко мнъ самому, — заговориль во мнъ. — Эхъ, ты, — горько говориль этотъ голосъ, — погубиль дъвченку. Вонъ смотри, вонъ она идетъ, этотъ малышъ. А помнишь, какъ она говорила — ахъ, ты моя любонька? И за что погубилъ? Что она тебъ сдълала? Эхъ ты!

Удивительная это вещь — удаляющаяся спина несправедливо обиженнаго и навсегда уходящаго человъка. Есть въ ней какое-то безсиліе человъческое, какая-то жалкая слабость, которая просить себя пожальть, которая зоветь, которая тянеть за собою. Есть въ спинъ удаляющагося человъка что-то такое, что напоминаетъ о несправедливостяхъ и обидахъ, о которыхъ нужно еще разсказать и еще разъ проститься, и сдълать это нужно скорве, сейчасъ, потому что уходитъ человъкъ навсегда, и оставить по себв много боли, которая долго еще будеть мучить, и можетъ-быть въ старости не позволитъ ночами заснуть. Снова шелъ снъгъ, но уже сухой и холодный, вътеръ моталъ фонарь, и на бульваръ тъни отъ деревьевъ дружно виляли, какъ хвосты. Зиночка давно уже зашла за уголъ, Зиночки давно уже не было видно, но все енова и снова воображениемъ я возвращалъ ее къ себъ, отпускалъ до угла, смотрълъ на ея удаляющуюся спину, и опять, почему-то спиной, она прилетала ко мнъ обратно. А когда, наконедъ, случайно промахнувъ по карману, я звикнуль въ немъ ея неиспользованными десятью серебряными пятачками, и тутъ-же вспомнилъ ся губки и голосокъ ея, когда она сказала — долго я ихъ все собирала, говорятъ, они къ счастью, — то это было, какъ хлыстъ по моему подлому сердцу, хлыстъ, который заставилъ меня бъжать, бъжать вслъдъ за Зиночкой, бъжать по глубокому снъгу въ той разслабленной слезливости, когда бъжишь во следъ двинувшемуся и последнему поезду, бежишь и знаешь, что догнать его не сумвешь.

Въ эту ночь я еще долго бродилъ по бульварамъ, въ эту ночь я далъ себъ слово — на всю жизнь, на всю

жизнь сохранить Зиночкины серебряные пятачки. Зиночку-же я такъ больше никогда и не встрътилъ. Велика Москва и много въ ней народу.

3.

Водительскую головку нашего класса составляли Штейнъ, Егоровъ и, какъ мив тогда котвло казаться, — я самъ.

Со Штейномъ я былъ друженъ, съ постояннымъ безпокойствомъ чувствуя при этомъ, что, какъ только я перестану напрягать въ себъ эту дружбу къ нему, такъ тотчасъ возненавижу его. Бълобрысый, безбровый, съ уже намъчавшейся плъшью, — Штейнъ быль сыномъ богатаго еврея-мъховщика и лучшимъ ученикомъ въ классъ. Преподаватели вызывали его весьма радко, съ годами удостовърившись, что знанія его безукоризненны. когда преподаватель, заглянувъ въ журналъ, говорилъ — Шшштейнъ. — весь классъ какъ-то по особому затихалъ. Штейнъ, сорвавшись съ парты съ такимъ шумомъ, словно его тамъ кто держалъ, быстро выходилъ партъ и, чуть не опрокинувшись на тонкихъ и длинныхъ ножищахъ — далеко отъ кафедры становился такъ косо къ полу, что, если бы провели прямую линію отъ его носковъ вверхъ, она вышла бы изъ острія его узкаго и худого плеча, у котораго онъ молитвенно складывалъ громадныя свои бълыя руки. Стоя косо, всей тяжестью своей на одной ногь, другой лишь носкомъ ботинка (будто эта нога была короче) прикасаясь къ полу, — бабьеподобный, неуклюже изломанный, но никакъ не смъшной, изображая голосомъ — при отвътахъ — рвущую его впередъ, словно отъ избытка знаній, торопливость, — а при выслушиваніи задаваемыхъ ему вопросовъ — небрежную снисходительность, онъ, блистательно нивъ свой отвътъ, въ ожиданіи благосклоннаго тесь», всегда старался смотреть мимо класса — въ окно, при этомъ словно что-то жуя или шепча губами. Когда

же, также сорвавшись по скользкому паркету, онъ быстро шелъ на мъсто, то шумно садился и, ни на кого не глядя, сейчасъ-же начиналъ что то писать или ковыряться въ партъ до тъхъ поръ, пока общее вниманіе не отвлекалось слъдующимъ вызовомъ.

Когда въ перемънахъ разсказывалось что-либо смъшное, и когда моментъ общаго смъха заставалъ Штейна сидящимъ за партой, то, откидывая голову назадъ, онъ закрывалъ глаза, морщилъ лицо, изображая свое страданіе отъ смъха, и при этомъ быстро-быстро стучалъ ребромъ кулака о парту, стукомъ этимъ какъ бы стараясь отвлечь отъ себя душившій его смъхъ. Но смъхъ голько душилъ его: губы были сжаты и не издавали ни звука. Потомъ, выждавъ когда другіе отсмъялись, онъ открывалъ глаза, вытиралъ ихъ платкомъ и произносилъ — уффъ.

Его увлеченіями, о которыхъ онъ намъ разсказывалъ, были балетъ и «домъ» Марьи Ивановны въ Косомъ переулкъ. Его любимой поговоркой было выраженіе: — надо быть европейцемъ. Выраженіе это онъ кстати и некстати употреблялъ постоянно. — Надо быть европейцемъ, — говорилъ онъ, являясь и показывая на часахъ, что пришелъ въ точности за одну минуту до чтенія молитвы. — Надо быть европейцемъ, — говорилъ онъ, разсказавъ о томъ, что былъ прошлымъ вечеромъ въ балетъ и сидълъ въ литерной ложъ. — Надо быть еврошейцемъ, — добавлялъ онъ, намекая на то, что послъ балета поъхалъ къ Марьъ Ивановнъ. Только позднъе, когда Егоровъ сталъ шибко допекать, Штейнъ поотвыкъ отъ этого своего любимаго выраженія.

Егоровъ былъ тоже богатъ .Онъ былъ сыномъ казанскаго лѣсопромышленника, очень холеный, надушенный, съ бѣлымъ зубцомъ пробора до самой шеи, со склеенными и блестящими, какъ полированное дерево, желтыми волосами, которые, если отклеивались, такъ ужъ цѣлымъ пластомъ. Онъ былъ бы красивъ, если бы не глаза, водянистые и круглые, стеклянные глаза птицы, дѣлавшіеся

пугливо изумленными, лишь только лицо становилось серьезнымъ. За первые мъсяцы своего поступленія въгимназію, когда Егоровъ былъ какъ то ужъ особенно народно простоватъ и даже называлъ себя Ягорушкой, онъбылъ къмъ то сокращенно прозванъ Ягъ, и прозвище это за нимъ осталось.

Яга привезли въ Москву уже четырнадцатильтнимъ парнемъ и потому онъ былъ опредъленъ въ гимназію сразу въ четвертый классъ. Привелъ его къ намъ классный надзиратель утромъ, еще до занятій, и сразу предложилъ ему прочитать молитву, въ то время какъ дваддать пять паръ настороживщихся глазъ неотлучно смотръли, напряженно выискивая въ немъ все то, надъ чъмъ можно было бы посмъяться.

Обычно, молитва читалась монотонной скороговоркой, отзываясь въ насъ привычной необходимостью встать, полминуты стоять и, грохнувъ партами, садиться. Ягъ же началъ читать молитву отчетливо и неестественно проникновенно, при этомъ крестился не такъ, какъ всь, смахивая съ носа муху, а истово, закрывая глаза, при этомъ клалъ театральные поклоны, и снова голову, мутными глазами искалъ высоко подвъщенную классную икону. И тотчасъ раздались смъшки, у всъхъ явилось подозрвніе, что это шуточка, — и подозрвніе это перешло въ увъренность, а разрозненные смъшки въ хоровой хохотъ, лишь только Ягъ, оборвавъ слова молитвы, обвелъ всъхъ насъ цыплячьимъ своимъ, испуганно изумленнымъ взглядомъ. Классный же наставникъ разволновался весьма и кричалъ на Яга и на насъ всъхъ, что если подобное случится еще и впредь, то онъ доведетъ дъло до совъта. И только черезъ недълю, когда уже всъ знали, что Ягъ изъ очень религіозной, ранве старообрядческой, семьи, — то какъ-то разъ, уже послъ занятій, этотъ же классный наставникъ, уже старый человъкъ, покраснъвъ какъ юноша, внезапно подошелъ къ Ягу и, взявъ его за руку и глядя въ сторону, отрывисто сказалъ: — вы, Егоровъ, меня пожалуйста простите. И не сказавъ

больше ничего, ръзко вырвалъ свою руку и весь сгорбленный уже удаляясь по корридору, онъ дълалъ руками такія движенія, словно схватывалъ что-то съ шотолка и ръзко швырялъ на полъ. А Ягъ отошелъ къ окну и стоя къ намъ спиной долго сморкался.

Но это было только въ началь. Въ старшихъ классахъ Ягъ, по выраженію начальства, сильно испортился, и сталъ часто и много пить. Приходя утромъ въ классъ, онъ нарочно дѣлалъ кругъ, подходилъ къ партѣ, гдѣ сидѣлъ Штейнъ, и, грояно рыгнувъ, гналъ все это, какъ дорогой сигарный дымъ, къ штейновскому носу. — Надобыть европейдемъ, — пояснялъ онъ окружающимъ. Хотя Ягъ жилъ въ Москвѣ совершенно одинъ, снималъ въ особнякѣ дорогія комнаты, получалъ изъ дому видимо много денегъ и часто появлялся на лихачахъ съ женщинами, — онъ все же учился ровно и очень хорошо, считался однимъ изъ лучшихъ учениковъ, и только немногимъ было извѣстно, что онъ, чуть ли не по всѣмъ предметамъ, пользуется репетиторской подмогой.

Можно было бы сказать, что къ намъ троимъ, — Штейну, Ягу и мив, этой, какъ про насъ говорили, классной головкв, — весь остальной классъ примыкалъ такъ, какъ къ намагниченному бруску примыкаетъ двумя концами приставленное копыто. Однимъ своимъ концомъ копыто примыкало къ намъ своимъ лучшимъ ученикомъ и, удаляясь отъ насъ по копытному кругу, согласно понижающимся отмъткамъ учениковъ, снова возвращаясь, соприкасалось съ нами другимъ своимъ концомъ, на которомъ былъ худшій ученикъ и бездъльникъ. Мы-же, головка, какъ бы сопрягали въ себв основные признаки и того и другого: имвя отмътки лучшаго, были у начальства на счету худшаго.

Со стороны лучшихъ учениковъ къ намъ примыкалъ Айзенбергъ. Со стороны бездъльниковъ Такаджіевъ.

Айзенбергъ, или какъ его звали «тишайшій», былъ скромный, очень ирилежный и очень застънчивый еврейскій мальчикъ. У него была странная привычка: прежде

чъмъ что либо сказать или отвътить на вопросъ, — онъ проглатывалъ слюну, подталкивая ее наклономъ головы и проглотивъ, произносилъ — мте. Всъ считали необходимымъ издъваться надъ его половымъ воздержаніемъ (хотя истинность этого воздержанія никъмъ не могла быть провърена и меньше всего утверждалась имъ самимъ), и часто во время перемъны обступившая его толпа, съ требованіемъ — а ну, Айзенбергъ, покажи-ка намътвою послъднюю любовницу — внимательно разсматривала ладони его рукъ.

Когда Айзенбергъ говорилъ съ къмъ-нибудь изъ насъ, то непремънно какъ-то внизъ и вбокъ наклонялъ голову, скашивалъ въ сторону крапивнаго цвъта глаза и прикрывалъ рукою ротъ.

Такаджіевъ былъ самымъ старшимъ и самымъ рослымъ въ классъ. Этотъ армянинъ пользовался всеобщей любовью за свое удивительное умъніе переносить объектъ насмъшки съ себя самого всецъло на ту скверную отмътку, получаль, при этомъ, въ отличіе отъ которую окъ другихъ, никогда не злобствуя на преподавателя самъ веселясь больше всъхъ другихъ. У него тоже, какъ и у Штейна, было свое любимое выраженьице, которое возникло при следующихъ обстоятельствахъ. Однажды, при раздачь провъренныхъ тетрадей, преподаватель словесности, добродушный умница Семеновъ, отдавая тетрадь Такаджіеву и лукаво пострыливая глазками, заявилъ ему, что, несмотря на то, что сочинение написано прекрасно, и что въ сочинении имвется лишь на незначительная ощибка — неправинльо поставленная запятая, онъ, Семеновъ, принужденъ именно за эту-то ничтожную ошибку поставить Такаджіеву колъ. Причину же столь несправедливой, на первый взглядъ, отмътки должно видъть въ томъ, что Такаджіевское сочиненіе слово въ слово совпадаетъ съ сочинениемъ Айзенберга, какъ равно совпадаютъ въ нихъ — и это особенно таинственно — неправильно, поставленныя запятыя. И добавивъ свое любимое — видно сокола по полету, а молодца по соплямъ —

Семеновъ отдалъ Такаджіеву тетрадь. Но Такаджіевъ, получивъ тетрадь, продолжалъ стоять у кафедры. Онъ еще разъ переспросилъ Семенова — возможно-ли, такъ ли онъ его поняль, и какъ же это мыслимо, чтобы такъ-таки совершенно совпадали эти неправильно поставленныя запятыя. Получивъ тетрадь Айзенберга для сличенія, онъ долго листалъ, со все растущимъ въ лицв изумленіемъ что-то свърялъ и отыскивалъ, и, наконецъ, уже въ совершенномъ недоумъніи, глянувъ сперва на насъ, приготовившихся грохнуть хохотомъ, медленно-медленно поворотилъ изумленно выпученные глаза прямо на Семенова. — Таккая сафпадэніе. — трагически прошепталь онъ, подняль плечи и опустиль углы губъ. Коль быль поставлень, цвна была какъ бы заплачена и Такаджіевъ, на самомъ дълъ прекрасно владъвшій русскимъ языкомъ, просто пользовался случаемъ, чтобы повеселить друзей, самого себя, да кстати и словесника, который, несмотря на жестокую суровость отметокъ, любилъ сменться.

Таковы были точки нашего съ концами примыкавшаго къ намъ класснаго копыта, въ которомъ всв остальные ученики казались твмъ болве отдаленными и потому безцввтыми, чвмъ ближе размвщались они къ серединв копыта, вследствіе изввчной борьбы между двойкой и тройкой. Вотъ въ этой-то далекой и чуждой намъ средв находился Василій Буркевицъ, низкорослый, угреватый и вихрастый малый, когда случилось съ нимъ происшествіе, весьма необычное въ спокойно и крвпко налаженной жизни нашей старой гимназіи.

4

Мы были въ пятомъ классъ и былъ урокъ нъмецкаго языка, который намъ преподавалъ фонъ-Фолькманъ, совершенно лысый человъкъ съ краснымъ лицомъ и бълыми мазеповскими со ржавчиной усами. Онъ сперва спрашивалъ Буркевица съ мъста (онъ его называлъ Буркевицъ, ставя удареніе на «у»), но такъ какъ кто-то навязчиво в

громко суфлироваль, то Фолькмань разсердился, морковный цвъть лица сразу сталь свекольнымь и, приказавъ Буркевицу отойти у парты и встать у доски, буркнувь — Verdammte Bummelei — онь уже любовно тянуль себя за тормазь своей элобы — свой бълорыжій усъ. Вставь у доски, Буркевиць хотъль было отвъчать, какъ вдругь случилось съ нимъ нъчто въ высшей степени непріятное. Зачихнуль, но чихнуль такъ несчастливо, что изъ носа его вылетъли брызги и качаясь повисли чуть ли не до пояса. Всъ захихикали.

Was ist denn wieder los - спросилъ Фолькманъ и, обернувшись и увидъвъ, добавилъ: Na, ich danke. — Буркевицъ, налитый кровью стыда и потомъ сразу блъднъя до зелени, трясущимися руками шарилъ по карманамъ. Но платка при немъ не оказалось. — А ты, милой, оборваль бы тамъ свои устрицы, замътиль Ягь, — Богь милостивъ, а намъ нынче еще объдать надо. — Такая сафпадэніе, — изумлялся Такаджіевъ. Весь классъ уже ревълъ отъ кохота, и Буркевицъ, растерянный и ужасно жалкій, выбажаль въ корридоръ. Фолькманъ же, карандашомъ стуча по столу, все кричалъ — Rrruhe — но въ общемъ грохотъ было слышно только рычаніе первой буквы звукъ, изумительно иллюстрировавшій выраженіе глазъ, которые выпучились уже такъ, что страхъ мы испытывали не столько за насъ, сколько за самого Фолькмана.

На следующій день, однако, когда снова быль урокь немецкаго языка, Фолькмань, на этоть разь будучи видимо хорошо настроень и, решивь посменься, опять вызваль Буркевица. — Вагкеwitz! Uebersetzen Sie weiter приказаль онь, съ притворнымь ужасомь добавивь: aber selbstverständlich nur im Falle, wenn Sie heut'n Taschentuch besitzen.

У Фолькмана было замъчательно то, что только по смыслу предшествующихъ событій можно было догадаться — кашляетъ ли онъ или смъется. И завидя теперь, какъ онъ, послъ сказанныхъ имъ словъ, широко раскрывъ ротъ,

выпускалъ оттуда клокочущую, хрипящую и булькающую струю, — какъ ржавые кончики его усовъ приподнимались, словно изо рта у него шелъ страшный вътеръ, и какъ на его, ставшей малиновой, лысинъ вздулась, толщиною съ карандашъ, лиловая жила, — весь классъ дико и надрывно захохоталъ. Штейнъ же, откинувъ голову, со страдальчески закрытыми глазами, шибко стучалъ ребромъ своего бълаго кулака о парту, и лишь послъ того, какъ всъ успокоились, вытеръ глаза и сдълалъ уффъ.

Только спустя нъсколько мъсяцевъ мы поняли, до чего жестокъ, несправедливъ и неумъстенъ былъ этотъ хохотъ.

Дъло въ томъ, что, когда случилась эта непріятность съ Буркевицемъ, онъ въ классъ не вернулся ,а на слъдующій день явился съ чужимъ, съ деревяннымъ лицомъ. Съ этого дня классъ пересталъ для него жить, онъ будто похоронилъ насъ, и, въроятно, и мы бы спустя короткое время о немъ бы забыли, если бы уже черезъ недълю-другую и нами и преподавателями не было бы замъчено нъчто чрезвычайно странное.

Странность же эта заключалась въ томъ, что Буркевицъ, троечникъ и двоечникъ Буркевицъ, началъ вдругъ неожиданно и крѣпко сдвигаться съ середины класснаго копыта, и, сперва очень медленно, а потомъ все быстрѣе и быстрѣе, двигаться по этому копыту въ сторону Айзенберга и Штейна.

Сперва это продвиженіе шло очень медленно и туго. Излишне говорить о томъ, что даже при системъ отмътокъ преподаватель руководствуется обычно не столько тъмъ знаніемъ ученика, которое тотъ обнаруживаетъ въ моментъ вызова, сколько той репутаціей знаній, которую ученикъ этотъ себъ годами создалъ. Случалось, хотя и очень ръдко, что единичные ствъты Штейна или Айзенберга были настолько слабы, что будь на ихъ мъстъ Такаджіевъ, онъ безусловно получилъ бы тройку. Но такъ какъ это были Айзенбергъ и Штейнъ, зарекомендованные годами пятерочники, то преподаватель, даже за такіе ихъ отвъты, хотя быть можетъ и скръпя сердце, ставилъ имъ пять. Обвинять

преподавателей за это въ несправедливости — было бы столь же справедливо, какъ обвинять въ несправедливости весь міръ. Въдь сплошь да рядомъ уже случалось, что зарекомендованныя знаменитости, эти пятерочники изящныхъ искусствъ, получали у своихъ критиковъ восторженные отзывы даже за такія слабыя и безалаберныя вещи, что будь они созданы къмъ-нибудь другимъ, безымяннымъ, то развъ что въ лучшемъ случав онъ могъ бы разсчитывать на такаджіевскую тройку. Главной же трудностью Буркевица была не его безымянность, а что гораздо хуже, годами установившаяся репутація посредственности особенно мъшала ему двигаться и стояла передъ нимъ нерушимой стъной.

Но, конечно, все это было только первое время. Ужъ такова вообще психологія пятибалльной системы, что отъ тройки до четверки — это океанъ переплыть, а отъ четверки до пятерки — рукой подать. Между тъмъ Буркевицъ все перъ. Медленно и упорно, не отступая ни на пядь, все впередъ, двигался онъ по изгибу, все ближе и ближе къ Айзенбергу, все ближе и ближе къ Штейну. Къ концу учебнаго года (исторія съ чихомъ приключилась въ январъ) онъ былъ уже близъ Айзенберга, хотя и не смогъ съ нимъ сравняться за недостаткомъ времени. Но когда съ послъдняго экзамена Буркевицъ, все съ тъмъ же деревяннымъ лицомъ и ни съ къмъ не прощаясь, прошелъ въ раздъвальню, мы все же никакъ не предполагали, что станемъ свидътелями трудной борьбы, борьбы за первенство, которая завяжется съ первыхъ же дней будущаго учебнаго года.

5.

Борьба началась же съ первыхъ же дней. Съ одной стороны Василій Буркевицъ, — съ другой Айзенбергъ и Штейнъ. На первый взглядъ борьба эта могла показаться безсмысленной: и Буркевицъ, и Айзенбергъ, и Штейнъ не имъли, кромъ пятерокъ, другихъ отмътокъ. И все же

шла борьба, напряженная и жаркая, и при чемъ борьба эта шла за ту невидимую надбавку къ пятеркѣ, за то наивыстшее переростаніе этой отмѣтки, которое, хотя и нельзя было изобразить въ классномъ журналѣ, но которое остро чувствовалось и классомъ и преподавателями, и которое поэтому служило тѣмъ хвостомъ, длиной коего опредѣлялось первенство.

Съ особенной внимательностью относился къ этому соревнованію преподаватель исторіи, и случалось даже такъ, что въ теченіе одного урока онъ вызывалъ подрядъ всъхъ троихъ: Айзенберга, Штейна и Буркевица. Никогда не забыть мнъ этой электрической тишины въ классной комнатъ, этихъ влажныхъ, жадныхъ и горячихъ у всъхъ глазъ, этого затаеннаго и потому тъмъ болъе буйнаго волненія, и кажется мнъ, что совершенно также переживали бы мы бой быковъ, когда бы были лишены возможности криками высказывать наши чувства.

Сперва выходилъ Айзенбрегъ. Этотъ маленькій честный труженикъ зналъ все. Онъ зналъ все, что нужно, онъ зналъ даже больше этого, даже свыше того, что отъ него требовалось. Но въ то же время, какъ знанія, которыя отъ него требовались текущимъ урокомъ, выражались, хоть и въ безукоризненномъ, хоть и въ точномъ, хоть и въ безошибончомъ, — но все же не болье, какъ въ сухомъ перечнъ историческихъ событій, — такъ равно и тъ знанія, которыя отъ него вовсе не требовались, и коими онъ желалъ блеснуть, выражались лишь въ забъганіи впередъ въ хронологическую даль еще не пройденныхъ уроковъ.

Потомъ быстро, какъ всегда, выходилъ Штейнъ, скрививъ всю комнату своей косой фигурой. Снова тотъ же вопросъ, что и Айзенбрегу, и Штейнъ начиналъ мастерскъ барабанить. Это былъ уже не Айзенбргъ, съ его глотаніями слюны и корявыми «мте», которыми тотъ начиналъ свои красныя строки. Въ нѣкоторомъ смыслѣ то, что давалъ Штейнъ, было даже блестяще. Онъ трещалъ, какъ многосильный моторъ, обильныя летѣли искры иностранныхъ

словъ, не замедляя ръчи, какъ хорошо подстроенные мосты, приносились латинскія цитаты, и чеканный его выговоръ доносилъ до нашихъ ушей все, позволяя пріятно отдыхать, ничуть не заставляя вслушиваться или напрягаться, и въ то же время не давая выплеснуться въ пустоту ни единой звуковой каплъ. Въ довершение ко всему, уже заканчивая. Штейнъ въ блестящемъ резюмэ своего разсказа давалъ намъ прозрачно понять, что онъ. Штейнъ, человъкъ нынъшняго въка, хоть и разсказываетъ все это, однако, на самомъ дълъ только нисходитъ и относится свысока къ людямъ минувшихъ эпохъ. Что онъ, къ услугамъ котораго имъются теперь и автомобили, и аэропланы, и центральное отопленіе, и международное общество спальныхъ вагоновъ считаетъ себя въ полномъ правъ смотръть свысока на людей временъ лошадиной тяги, и что если онъ и изучаетъ этихъ людей, такъ развъ ужъ для того, чтобы лишній разъ увъриться въ величіи нашего изобрътательскаго въка.

И, наконецъ, Василій Буркевицъ, и снова тотъ же вопросъ, что и первымъ двумъ. Съ первыхъ словъ Буркевицъ разочаровывалъ. Ужъ какъ-то очень сухо намѣчалъ онъ дорогу своего разсказа, и уши наши были избалованы и ждали штейновскаго чеканнаго барабана. Но уже послѣ нѣсколькихъ оборотовъ Буркевицъ, какъ бы невзначай, упоминалъ мелкую подробность быта той эпохи, о которой разсказывалъ, словно вдругъ замахнувшись швырялъ шышную розу на горбы историческихъ могилъ. Послѣ первой бытовой черты слѣдовала также одиноко, какъ капля передъ грозой, вторая, и потомъ третья, и потомъ много, и, наконецъ, уже цѣлымъ дождемъ, такъ что въ развитіи событій онъ все медленнѣе и труднѣй продвигался впередъ. И старыя могилы, словно разукрашенныя легшими на нихъ цвѣтами, уже казались совсѣмъ недавними, еще незабытыми, свѣже вырытыми, вчерашними. Это было начало.

Но лишь только въ силу этого начала приближались къ намъ, подъвзжали къ намъ вплотную и старые дома, и старые люди, и двятельность старыхъ эпохъ, какъ тотчасъ

опровергалась штейновская точка эрвнія, везвеличивавшая нынышнюю эпоху надъ миновавшей — де потому, что для разстоянія, одолъваемаго нынче люксусъ-экспрессомъ въ явалиать часовъ, потребовалось бы въ то далекое время лошадиной тяги больше недели. Ловкимъ, мало напоминающимъ предумышленность оцъплениемъ сегоднящняго и тогдашняго быта. Буркевицъ, не утверждая этого, все же заставлялъ насъ понять, что Штейнъ заблуждается. Что отличіе между людьми, жившими во времена лошадиной тяги и живущими телерь, въ эпоху техническихъ усовершенствованій, — отличіе, которое, какъ полагаетъ Штейнъ, даетъ ему, человъку нынъшняго въка, право возвеличивать себя надъ людьми миновавшихъ эпохъ, — въ дъйствительности вовсе не существуетъ, - что никакого отличія между человъкомъ нынъшней и прошлой эпохи нътъ, что напротивъ, всякое различие между ними отсутствуетъ, и что именно отсутствиемъ-то отличия и объясняется поразительное сходство человъческихъ взаимоотношеній и тогда, когда разстояніе одолъвалось за недълю, и теперь, когда оно покрывается въ двадцать часовъ. Что какъ теперь очень богатые люди, одътые въ дорогія одежды, ъдуть въ международныхъ спальныхъ вагонахъ, — такъ и тогда, хотя и иначе, но тоже очень богато одътые люди ъхали въ шелками обитыхъ каретахъ и укутанные соболями; что какъ теперь есть люди, если не очень богато, то все же очень хорошо одътые, ъдущие во второмъ классъ, цъль жизни которыхъ — это добыть возможность повздокъ въ спальномъ вагонъ, такъ и тогда были люди, ъхавшіе въ менъе дорогихъ экипажахъ и укутанные лисьими шкурами, цъль жизни которыхъ состояла въ томъ, чтобы пріобръсти еще болье дорогую карету, а лисы смынить соболями; что какъ теперь есть люди, ъдущіе въ третьемъ классь, не имъющіе чъмъ заплатить доплату за скорость, и обреченные страдать отъ жесткихъ досокъ почтоваго, такъ и тогда были люди, не имъющіе ни денегь, ни чина, потому тъмъ дольше кусаемые клопами смотритльскаго дивана; что, наконецъ, какъ теперь есть люди, голодные, жалкіе и въ лох-

мотьяхъ, шагающіе по шпаламъ, такъ и тогда были люди такіе же голодные, такіе же жалкіе, въ такихъ же лохмотьяхъ бредущіе по почтовому тракту. Давно уже сгнили шелка, развалились, разсохлись кареты и сожрала моль соболя, а люди, словно остались все тв же, словно и не умирали, и все также мелко гордясь, завистничая и взошли въ сегодняшній день. И не было уже штейновскаго игрушечнаго прошлаго, умаленнаго нынашнимъ паровозомъ и электричествомъ, потому-что придвигаемое намъ буркевицовской силой это прошлое принимало явственныя очертанія нашего сегодняшняго дня. Но снова переходя къ событіямъ, снова вводя въ нихъ бытовыя черты, сличая ихъ съ характерами и действіями отдельныхъ лицъ, Буркевицъ упорно и увъренно гнулъ въ нужную ему сторону. Эта кривая его разсказа, послѣ многихъ и ръжущихъ сопоставленій, нисколько не вступая въ утвержденіе и потому пріобратая еще большую убадительность, сводилась къ тому выводу, котораго самъ онъ не дълалъ. предоставляя его сдалать намъ, и который заключался въ томъ-де, что въ прошломъ, въ этомъ далекомъ прошломъ - нельзя не замътить, нельзя не увидъть возмутительную и кощунственную несправедливость: несоотвытствіе между достоинствами и недостатками людей, и облегающими ихъ, однихъ соболями, другихъ лохмотьями. Это въ прошломъ. На настоящее онъ уже и не намекалъ, словно кръпко зная, какъ хорошо, какъ досконально извъстно намъ это возмутительное несоотвътствіе въ нашемъ сегодня. Но паутина уже сплетена. По ея путаннымъ, стальнымъ и неломающимся прутьямъ, по которымъ всв мы увъренно шли, не могли не идти вслъдъ за Буркевицомъ, — мы приходили къ непотрясаемой увъренности в томъ, что какъ прежде, — во времена лошадиной тяги, такъ и теперь во времена паровозовъ, — жить человъку глупому легче, чъмъ умному. хитрому лучше, чъмъ честному, жадному вольготный, чъмъ доброму, жестокому милъе, чъмъ слабому, властному роскошный, чымъ смиренному, лживому сытные, чымъ праведнику, и сластолюбцу слаще, чемъ постнику. Что такъ

это было, и такъ это будетъ въчно, пока живъ на землъ человъкъ.

Классъ не дышалъ. Въ комнатъ было чуть не тридцать человъкъ, а я отчетливо слышалъ, какъ цокали запрещенные начальствомъ часы въ карманъ сосъда. Историкъ сидълъ на кафедръ, щурилъ рыжія ръсницы въ журналъ, изръдка такъ морщась и поскребывая всей пятерней бородку, словно говорилъ: — вотъ такъ гусь лапчатый.

Буркевицъ заканчивалъ свой разсказъ напоминаніемъ о той болѣзни, которая, развиваясь много вѣковъ, постепенно охватывала человѣческое общество, и которая, наконецъ, теперь, въ нынѣшнюю эпоху техническихъ совершествованій, уже повсемѣстно заразила человѣка. Эта бользнь — пошлость. Пошлость, которая заключается въ способности человѣка относиться съ презрѣніемъ ко всему тому, чего онъ не понимаетъ, при чемъ глубина этой пошлости увеличивается по мѣрѣ роста никчемности и ничтожества тѣхъ предметовъ, вещей и явленій, которые въ этомъ человѣкѣ вызываютъ восхищеніе.

И мы понимали. Это былъ мъткій камень въ штейновскую морду, которая какъ разъ въ это время что-то усиленно разыскивала въ партъ, зная, что теперь всъ глаза обращены на нее.

Но понимая, въ кого брошенъ камень, мы также понимали и нвито другое. Это другое заключалось въ пониманіи того, что эта, казалось бы безнадежная, ввками налаженная несправедливость людскихъ отношеній, о которой намеками разсказывалъ Буркевицъ, нисколько не повергаетъ его самого ни въ уныніе, ни въ бвшенство, а является какъ бы твмъ горючимъ, нарочно для него приготовленнымъ веществомъ, которое, вливаясь въ его нутро, не даетъ разрушающаго взрыва, а горитъ въ немъ ровнымъ, спокойнымъ и шибкимъ огнемъ. Мы смотрвли на его ноги въ стоптанныхъ нечищенныхъ ботинкахъ, на потертые брюки съ неуклюже выбитыми колвнями, на его шарами налитыя скулы, крошечные сврые глаза и костистый лобъ подъ шоколадными вихрами, и чувствовали, чувствовали

непреодолимо и остро, какъ бродитъ и претъ въ немъ страшная русская сила, которой нътъ ни препонъ, ни заставъ, ни заградъ, сила одинокая, угрюмая и стальная.

6.

Эта борьба между Буркевицемъ, Штейномъ и Айзенбергомъ, которую Штейнъ язвительно окрестилъ борьбой бълой и грязной розы, эта борьба, въ которой чрезвычайный перевъсъ Буркевица чувствовался ръшительно всъми, закончилась тотчасъ, лишь только единодушное мнъніе класса было о ней громко высказано.

Это случилось совершенно случайно: Какъ-то, въ началь неября, утромъ, когда всв разсвлись по партамъ въ ожиданіи историка, въ классъ быстро зашелъ ученикъ восьмого класса съ такой рышительностью, что весь классъ всталъ на ноги, принявъ его за преподавателя. Послышались чрезвычайно витіеватыя ругательства, при чемъ настолько дружныя, что ученикъ этотъ, нахально взойдя на кафедру и разведя руками, сказалъ: — простите, господа, но я не понимаю что здъсь, — арестантская камера для уголовныхъ, въ которой вошедшаго товарища приняли за начальника тюрьмы, — или здъсь шестой классъ московской классической гимнами?

— Господа, — продолжалъ онъ съ чрезвычайной серьезностью, — я прошу на минуту вашего вниманія. Сегодня утромъ прибылъ въ Москву господинъ министръ народнаго просвъщенія, и есть основаніе предполагать, что завтра, въ теченіе дня, онъ посѣтитъ насъ. Мнѣ кажется, не къ чему говорить вамъ о томъ, ибо вы это и сами знаете, какое значеніе имѣетъ для нашей гимназіи то впечатльніе, которое господинъ министръ вынесетъ изъ этихъ стѣнъ. Совершенно очевидно также и то, что дирекція гимназіи, не считая для себя возможнымъ сговариваться съ нами въ смыслѣ подготовки къ такому посѣщенію, будетъ, однако, смотрѣть съ благожелательствомъ, коль скоро нѣчто подобное будетъ предпринято нами самими. Господа,

я попрошу васъ теперь назвать мив вашего лучшаго ученика, который долженъ будетъ сегодня вечеромъ присутствовать на маленькомъ совъщаніи, а завтра онъ, какъ вашъ выборный, сообщитъ вамъ общее ръшеніе, которому каждый изъ васъ, желающій поддержать долгольтнюю и незапятнанную честь нашей славной гимназіи, подчинится безпрекословно.

Сказавъ это, онъ приподнялъ раскрытую книжонку къ своимъ, видимо, очень близорукимъ глазамъ, и навостривъ въ бумагу карандашъ и моргая глазами, какъ это дълаетъ человъкъ въ ожиданіи звука, — добавилъ такъ — какъ фамилія?

И классъ, ухнувъ гуломъ голосовъ, такъ что въ стеклахъ дзыкнули сотни злыхъ мухъ, заревълъ: — Бур-кевицъ. И даже сзади кто-то любовно добавилъ — выходи Васька, — хотя и выходить было некуда и совершенно не нужно. Гимназистъ записалъ, поблагодарилъ и поспъшно вышелъ. Игра была проиграна. Борьба закончена. Буркевицъ сталъ первымъ.

И словно зная, что соревнованію пришелъ конецъ (хотя, можетъ быть, еще и по другимъ какимъ причинамъ), вошедшій въ классъ историкъ, садясь и потомъ злобно шаркая по кафедрѣ ногами, тутъ же вызвалъ Буркевица, и, попросивъ разсказать текущій урокъ, прибавилъ: — папрашу васъ де-ержаться въ рамкахъ ги-имназическаго к-курса. И Буркевицъ понялъ. Онъ началъ разсказывать чекущій урокъ, и разсказалъ его въ духѣ гимназическаго курса, въ духѣ незапятнанной чести нашей славной гимназіи и въ духѣ господина министра народнаго просвѣщенія, который въ это утро прибылъ въ Москву.

— Если бы сопля меня не сдѣлала человѣкомъ, то замѣсто человѣка я сдѣлался бы соплей. Такъ говорилъ мнѣ Буркевицъ во время выпускныхъ экзаменовъ, послѣ того, какъ произошедшій скандалъ съ гимназическимъ священникомъ насъ немного сблизилъ. Но это было уже въ наши прощальные дни въ гимназіи. До этого-же Буркевицъ ни со мной и вообще ни съ кѣмъ не говорилъ ни слова, про-

должая считать насъ чужими, и за все время, внъ гимназической необходимости, сказаль всего нъсколько Штейну по следующему поводу. Однажды, во время большой перемьны, собравшаяся вокругь Штейна толпа гимназистовъ начала съ нимъ бесъду о ритуальныхъ убійствахъ, при чемъ кто-то съ жестокой улыбкой спросилъ у Штейна, въритъ-ли онъ, Штейнъ, въ возможность и въ существованіе ритуальныхъ убійствъ. Штейнъ тоже улыбался, но когда я увидълъ эту его улыбку, у меня сжалось за него сердпе. — Мы, евреи, — отвъчалъ Штейнъ, — не любимъ проливать человъческую кровь. Мы предпочитаемъ ее высасывать. Ничего не подълаешь — надо быть европейцемъ. — Вотъ въ эту-то минуту Буркевицъ, стоявшій тутъ-же, вдругь неожиданно для всъхъ впервые обратился къ Штейну. — А вы, кажется, господинъ Штейнъ, — сказалъ онъ. — испугались здъсь антисемитизма? А напрасно. Антисемитизмъ вовсе и не страшенъ, а только противенъ, жалокъ и глупъ: противенъ, потому что направленъ противъ крови, а не противъ личности, жалокъ потому, что завистливъ, хотя желаетъ казаться презрительнымъ, глупъ, потому, что еще крыпче сплочаеть то, что цылью своей поставилъ разрушить. Евреи персстануть быть евреями только тогда, когда быть евреемъ станетъ не невыгодно въ національномъ, а позорно въ моральномъ смыслъ. Позорноже въ моральномъ смыслъ станетъ быть евреемъ тогда, когда наши господа христіане сдівлаются наконецъ истиннохристіанами, иначе говоря людьми, которые, сознательно ухудшая условія своей жизни — дабы улучшить жизнь всякаго другого, будетъ отъ такого ухудшенія испытывать удовольствіе и радость. Но пока этого еще не случилось, и двухъ тысячъ льтъ для этого оказалось недостаточнымъ. Поэтому напрасно вы говорите, господинъ Штейнъ, пытаетесь купить ваше сомнительно достоинство, унижая передъ этими свиньями тотъ народъ, къ которому сами вы имъете честь, слышите-ли, имъете честь принадлежать. И пусть вамъ будетъ стыдно, что я — русскій, говорю это вамъ — еврею.

Я стояль молча, также какь и всв. И, кажется, также, какъ и всъ, въ первый разъ, въ первый разъ за всю мою жизнь испытываль острую и сладостную гордость отъ сознанія того, что я русскій, и что среди насъ есть хотя одинъ такой, какъ Буркевицъ. Почему и откуда вдругь взялась во мнь эта гордость — я хорошенько не зналь. Я зналь только, что Буркевицъ сказалъ нъсколько словъ, при чемъ раньше, чъмъ понять смыслъ его словъ, я уже почувствоваль въ его словахъ какое то особенное рыцарство, рыцарство личнаго самоуничиженія ради защиты слабаго и обез доленнаго инородца, рыцарство столь свойственное русскому человъку въ національныхъ вопросахъ. И уже потому, что никто изъ насъ не обругалъ Буркевица, что толпа, обступавшая Штейна, быстро начала расходиться, словно не желая участвовать въ недостойномъ ихъ дълъ, и что нъкоторые говорили — върно, Васька, — правильно, Васька, молодецъ, — мнв показалось, что и другіе испытывали совершенно тоже, что и я, и что хвалять они Буркевица за то поднимающее чувство національной гордости, которое онъ этими словами имъ доставилъ. Но не испытывалъ, да и не могь, конечно, испытывать этихъ чувствъ самъ Штейнъ. Разко отвернувшись, элобно улыбаясь, онъ отошелъ къ Айзенбергу и просунувъ свои громадные бълые пальцы за ремень Айзенберга и, такъ притягивая его къ себъ, о чемъ то тихо ему не то говорилъ, не то спрашивалъ.

Въ первыя затъмъ минуты я испытывалъ нъкоторую смутную непріязнь къ Штейну. Однако, непріязнь эта быстро прошла, поскольку я сообразилъ, что если бы тогда, — во время перемъны, — когда приходила въ гимназію съ конвертомъ моя мать, и я, поступивъ точно также, какъ и Штейнъ — отрекся отъ нея, полагая, что тъмъ самымъ спасаю свое достоинство, — что если бы тогда къ намъ подошелъ бы тотъ же Буркевицъ и сказалъ бы мнѣ, что не гоже сыну совъститься и отрекаться отъ своей матери только потому, что она старая, уродливая и оборваная, — а что должно сыну любить и почитать свою мать, и тъмъ больше любить, и тъмъ больше почитать, чъмъ старъе,

дряхлве и оборванные она, — если бы случилось тогда во время перемыны нычто подобное, то весьма возможно, что ты изы гимназистовы, что спрашивали меня о шуты гороховомы, и согласились бы съ Буркевицемы, и можеты быты даже поддакнули бы ему, — но я-то, я-то самы уже конечно испытывалы бы вы этоты стыдный моменты не столько навязываемую мны какимы то постороннимы любовы кы моей собственной матери, сколько вражду противы этого вмышивающагося совершенно не вы свое дыло человыка.

И движимый этой общностью чувствъ, я подошелъ къ Штейну и, кръпко и тъсно обнявъ его за талію, пошелъ съ нимъ въ обнимку по корридору.

8.

За двъ недъли до начала выпускныхъ экзаменовъ, въ апрълъ, когда война съ Германіей бушевала уже полтора съ лишнимъ года, всъ близко окружавшіе меня гимназисты, а въ томъ числъ и я, потеряли къ ней ръшительно всякій интересъ.

Я еще хорошо помнилъ, какъ въ первые дни объявленія войны я быль очень взволновань, и что волненіе это было чрезвычайно пріятнымъ, молодеческимъ и, пожалуй, даже просто радостнымъ. Цълый день я ходилъ по улицамъ, нераздъльно смыкаясь съ — точно въ пасхальные дни — праздной толпой, и вывств съ этой толпой очень много кричалъ и очень громко ругалъ нъмцевъ. Но ругалъ я нъмцевъ не потому, что ненавидълъ ихъ, а потому только, что моя ругань и брань были тымъ гвоздемъ, который, чемъ больше я его надавливалъ, темъ глубже давалъ мнъ почувствовать эту въ высшей мъръ пріятную общность съ окружавшей меня толпой. Если бы въ эти часы мнъ показали бы рычагь и, предложивь его дернуть, сказали бы. что при поворотв этого рычага взорвется вся Германія, взорвутся покальченными, что при повороть этого рычага ни единаго нъмда не останется въ живыхъ, - я бы не задумываясь дернулъ бы за этотъ рычагъ, а дернувъ съ пріятностью пошель бы раскланиваться. Слишкомъ я ужъ быль увъренъ, что если такое было-бы осуществимо и осуществлено, то эта толпа изступленно, дико ликовала бы.

Въроятно, именно это духовное соприкосновеніе, эта сладенькая общность съ такой толпой, помъщали моему воображенію взыграть тымь образомь, который возникь во мив черезъ ивсколько дней, когда, лежа въ темной комнатенкъ моей на диванъ, представилось мнъ, что на помостъ посереди большой площади, заполненной толпой, приводять мив былаго германскаго мальчика, котораго я долженъ зарубить. — Руби его, — говорятъ, нътъ, приказываютъ мнъ, - руби его на смерть, руби по башкъ, руби, нбо отъ этого зависить твоя жизнь, жизнь твоихъ близкихъ, счастье, расцвътъ твоей родины. Не зарубишь — будешь наказанъ жестоко. — А я, глянувъ на бълокурое темя этого нъмецкаго мальчика и въ его водянистые и умоляющие глаза — отшвыриваю топоръ и говорю: — воля ваша, я отказываюсь. И заслышавъ мой отвътъ, этотъ мой жертвенный отказъ, толпа дико ликуя хлещетъ въ ладоши. Таково было мое мечтаніе черезъ нъсколько дней.

Но какъ въ моемъ первомъ представленіи, гдѣ простымъ поворотомъ рычага уничтожая шестьдесятъ милліоновъ людей, я руководствовался отнюдь не враждой къ этимъ людямъ, а только тѣмъ предполагаемымъ успѣхомъ, который выпадалъ бы на мою долю, сверши я нѣчто подобное, — такъ точно въ моемъ отказѣ зарубить этого стоящаго передъ моими глазами мальчика, я руководсвовался не столько страхомъ пролитія чужой крови, не столько уваженіемъ къ человѣческой жизни, сколько стремленіемъ придать своей личности ту исключительность, которая тѣмъ больше возвышалась, чѣмъ большее наказаніе ожилало меня за мой отказъ.

Уже черезъ мъсяцъ я остылъ къ войнъ, и если съ подогрътымъ восхищеніемъ читая въ газетъ о томъ, что русскі побили гдъ то нъмцевъ — приговаривалъ при этомъ —

такъ имъ и надо сволочамъ, зачъмъ полъзли на Россію, — спустя еще мъсяцъ, читая о какой нибудь побъдъ нъмцевъ надъ русскими, точно также говорилъ, — такъ имъ и надо сволочамъ, не лъзли бы на нъмцевъ. А еще черезъ мъсяцъ вскочившій у меня на носу чирь-бъсилъ, заботилъ и волновалъ меня если не больше, то ужъ во всякомъ случав искренные, чымь вся міровая война. Во всыхь этихь словахъ, какъ — война, побъда, поражение, убитые, плънные, раненые, — въ этихъ жуткихъ словахъ, которыя въ первые дни были столь трепетно живыми, словно караси на ладоняхъ, въ этихъ словахъ для меня обсохла кровь. которой онъ были писаны, а обсохнувъ превратилась въ типографскую краску. Эти слова сделались какъ испорченная лампочка: штепсель щелкалъ, а она не вспыхивала, слова говорились, но образъ не возникалъ. Я уже никакъ не могъ предполагать, что война можетъ еще искренне волновать людей, которыхъ она непосредственно не затрагиваетъ, и такъ какъ Буркевицъ вотъ уже три года совершенно не общался ни со мной, ни вообще съ къмъ либо въ нашемъ классъ, то мы, вслъдствіе сего, и не могли, конечно, знать его мнъній о войнъ, будучи впрочемъ увърены, что оно никакъ не можетъ быть инымъ, чъмъ наше. То обстоятельство, что Буркевицъ не присутствовалъ въ актовомъ заль во время молебствія о ниспосланіи побъды, было вообще не замъчено и вспомнили объ этомъ только уже послъ происшедшаго столкновенія, — касательно же его поманкированія уроковъ по изученію военнаго стояннаго строя, введеннаго въ гимназіи вотъ уже нъсколько мъсяцевъ, то это было толкуемо то-ли его нездоровьемъ, то-ли нежеланімъ отдавать свое первенство, котя бы физическое, посредственному Такаджіеву, оказавшемуся замъчательно ловкимъ и сильнымъ парнемъ. И присутствуя при этомъ ужасномъ столкновеніи, - я въ своемъ невъжествъ даже не зналъ, что слова, говоримыя Буркевицемъ — это только тотъ громъ отъ той молніи, которая вскинулась вотъ уже много десятковъ лътъ тому назадъ изъ дворянскаго гиъзда Ясной Поляны.

Въ нашемъ выпускномъ классѣ былъ пустой урокъ. Заболѣлъ и не явился словесникъ, и нашъ классъ, стараясь не шумѣть, дабы не потревожить занятій въ шестомъ и седьмомъ классахъ, наружныя двери которыхъ выходили въ это-же отдѣленіе, тихо бродилъ по коридору. Начальства не было. Классный наставникъ, полагаясь на насъ, которыхъ онъ тепреь называлъ — безъ пяти минутъ студенты, — отлучился въ классную нижнихъ этажей. Настроеніе у большинства было приподнятое: черезъ десятокъ дней начинались выпускные экзамены — послѣдній гимназическій этапъ.

У большого трехстворчатаго окна, что у самой двери, собралась небольшая группа гимназистовъ съ Ягомъ посередкь, который о чемъ то тихо, но оживленно разсказывалъ. Кто-то изъ окружающихъ, возражая, прервалъ Яга, но Ягъ, видимо обозленный, забывъ о необходимости говорить полушепотомъ, громкимъ окрикомъ выругался матерно.

Въ это самое мгновеніе большинство уже замѣтили въ чемъ дѣло, и вся группа начала перестраиваться изъ круга лацомъ къ Ягу, — въ полукругъ лацомъ къ гимназическому батюшкѣ. Никто однако не слыхалъ, когда и какъ онъ вошелъ въ дверь.

— Какъ вамъ не стыдно, дѣти, — сказалъ онъ, выждавъ пока всв замѣтили его присутствіе и обращаясь ни къ кому, и потому ко всвмъ, своимъ укоризненно сладковатымъ, старческимъ голосомъ. — Подумайте о томъ, — продолжалъ онъ, — что черезъ нѣсколько лѣтъ вы уже войдете полновластными гражданами въ общественную жизнь великой Россіи. Подумайте о томъ, что тѣ унижающія слова, которыя я имѣлъ здѣсь несчастье слышать, ужасны по своему смыслу. Подумайте о томъ, что, если смыслъ такого ругательства и не доходитъ до вашего сознанія, то это не оправдываетъ, а еще больше васъ осуждаетъ, потому что доказываетъ, что эти ужасныя слова употребляются вами

ежечасно, ежеминутно, что они — эти слова, переставъ быть для васъ ругательствомъ, стали изобразительнымъ средствомъ вашей рвчи. Подумайте о томъ, что вамъ выпало счастье изучать музыку Пушкина и Лермонтова, и что этой-то музыки ждетъ отъ васъ наша несчастная Россія, этой и никакой другой.

По мъръ того какъ онъ говорилъ, глаза стоявшихъ передъ нимъ гимназистовъ становились какими то тупыми, непропускающими; можно было бы подумать, что во всъхъ этихъ глазахъ отсутствуетъ ръшительно всякое выражение, если бы не знать, что именно это отсутствіе выраженія должно выражать то, что они-то не ругались, и къ нимъ всъ эти укоряющія слова нисколько не относятся. Но одновременно съ тъмъ, какъ глаза и лица всей группы становились все болье безразлично скучающими, — глазки Буркевица. который теперь только тихо подошель, двлались все болъе живыми и озорными, губы его тонко разлъзались въ злую улыбку, — и слова священника, словно иголки бросаемыя въ полукругъ этихъ каменныхъ глазъ и лицъ, уже независимо отъ воли бросающей ихъ руки, сплетались и клеились къ намагниченной точкъ буркевицовской улыбки. Выходило будто ругался Буркевицъ и послъднія слова о Пушкинъ и Лермонтовъ относились уже всецъло къ нему.

- Вы, батюшка, возразилъ Буркевицъ тихимъ и страшнымъ голосомъ, знакомы видимо съ господами Пушкинымъ и Лермонтовымъ только ко казеннымъ хрестоматіямъ, и считаете болье близко знакомство съ ними, посколько оно опровергаетъ ваше мнъніе, излишнимъ.
- Да, твердо возразиль батюшка, для васъ я считаю дальнъйшее знакомство съ этими писателями излишнимъ, какъ считаю необходимымъ, прежде чъмъ подарить ребенку розу, сръзать съ нея шипы. Вотъ такъ. А теперь позвольте всъмъ вамъ еще разъ напомнить, что ругательскія слова, которыя я здъсь слышалъ, недопустимы и недостойны христіанина.

Послъднія слова онъ сказаль ръзко, старой своей чуть дрожащей рукой поправляя крестъ на лиловой рясъ. —

Почему же онъ продолжаетъ стоять, почему не уходитъ, — подумалъ я, но посмотрълъ на Буркевица и понялъ. Лицо Буркевица какъ то вдругъ похудъло, стало сърымъ и
дергалось, глаза съ пронзительной ненавистью смотръли
прямо въ лицо священнику. — Ссйчасъ онъ его ударитъ,
— подумалъ я. Буркевицъ судорожно занесъ руки назадъ.
словно поймалъ кого позади себя, сдълалъ шагъ впередъ и
съ неожиданной, предпріимчивой звонкостью, заговорилъ.

- Ругательскія слова, какъ вы изволили замітить, недостойны христіанина. Что-жъ? Противъ этого никто не возражаеть. Но ужъ если вы, служитель Бога, взялись наставлять насъ на путь истинный, то не взыщите коли я спрошу васъ — гдъ, въ чемъ, когда и какъ проявили вы сами-то эти невъдомыя намъ достоинства христіанина, непремънность выполненія которыхъ вы ръшили намъ здъсь внушать. Гдв были вы, къ слову сказать, съ вашими достоинствами христіанина, когда десять мъсяцевъ тому назадъ кровожадныя толпы, съ цвътными тряпками перли по улицамъ Москвы, толпы такъ называемыхъ людей, по кровожадности и тупости своей недостойные сравненія со стадомъ дикихъ скотовъ, — гдъ были вы, служитель Бога, въ этотъ ужасный для насъ день? Почему вы, поборникъ христіанства, не собрали насъ, дътей, какъ вы насъ называете, - здъсь, въ этихъ стънахъ, въ этомъ домъ, въ которомъ вы взяли на себя смълость учить насъ заповъдямъ Христа, — гдѣ были вы, спрашиваю я васъ, и почему молчали тогда, въ день объявленія войны, въ день обнародованія закона о поощреніи братоубійству, — и вдругъ заговорили теперь, подслушавъ сказанное здъсь ругательство? Ужъ не потому-ли, что братоубійство не столько противор вчитъ, не столько идетъ въ разръзъ съ фониманиемъ вами христіанскаго достоинства, сколько сказанное здъсь ругательство? Я признаю: ругаться такъ, какъ ругаются здъсь — непозволительно христіанину, и вы правы, правы, что протестовали противъ услышаннаго ругательства. Но гдъ же были вы, служитель Христа, гдв были вы всв эти десять мвсяцевъ, когда каждодневно и каждоминутно у дътей насильно

отрывали и отрывають ихъ отцовъ, у матерей ихъ мальчиковъ. — чтобы, отнявъ, насильственно-же посылать въ огонь, на убійства, на смерть, — гдв были вы все это время. и почему въ вашихъ проповъдяхъ не протестовали противъ всьхъ этихъ преступленій хотя бы такъ, какъ это сдълали здъсь по случаю услышаннаго ругательства? Почему? Почему? Ужъ не потому ли, что всь эти ужасы тоже нисколько не противоръчатъ христіанскому достоинству? Почему вы, достойный стражъ христіанства, нашли въ себъ наглость улыбаться и пощрительо кивать намъ вашей священной головой, когда однажды, проходя що гимназическому двору, вы увидъли, какъ насъ, вашихъ дътей, учатъ теперь ежедневно ружейнымъ пріемамъ, какъ насъ учатъ искусству братоубійствъ? Чему же вы такъ поощрительно улыбались, глядя на насъ, и почему молчали? Не потому-ли ужъ, что учить дътей ружейнымъ пріемамъ тоже не претитъ вашему христіанскому достоинству? И какъ осмълились вы, прикрываясь именемъ Христа, нарочито презръть заповъди Того. Чьимъ свътлымъ именемъ вы желаете оправдать вашу жалкую жизнь, какъ посмъли вы молиться. слышите-ли, молиться о томъ, чтобы братъ побъдилъ бы брата, чтобы брать покориль бы брата, чтобы брать убиль бы врага? О какомъ врагь вы теперь говорите? Ужъ не о томъ ли, о которомъ еще годъ тому назадъ вы сладкимъ голоскомъ въщали, что его должно и прощать и любить? Или быть-можеть такая молитва о покореніи, о насиліи, объ убійствъ и уничтоженіи однимъ человъкомъ другого — тоже не противоръчитъ вашему пониманію христіанскаго достоинства? Опомнитесь-же вы, жалкій церковный чиновникъ, отупъвшій и разжиръвшій на народныхъ харчахъ; опомнитесь и не оправдывайтесь тымъ, что ваши единовърческіе сослуживцы, рискуя жизнью тамъ, на поляхъ ужаса, причащають умирающихъ и умиротворяють истекающихъ кровью. Не оправдывайтесь этимъ, ибо, какъ вамъ, такъ и имъ слишкомъ хорошо въдомо, что ваша задача, что вашъ христіанскій долгь умиротворять не больныхъ, уже истекающихъ кровью, — а здоровыхъ, только

еще идущихъ убивать. Такъ не уподобляйтесь же врачу, который сифилитическія язвы лючить гольдкремомь, и не пытайтесь оправдываться еще тымь, что вы потворствуете этому страшному дълу — изъ преданности монарху или правительству, изъ любви къ родинъ или къ такъ называемому русскому оружію. Не оправдывайтесь, ибо знаете вы, что вашъ монархъ — Христосъ, ваша родина — совъсть, ваше правительство — Евангеліе, ваше оружіе любовь. Такъ опомнитесь же и дъйствуйте. Дъйствуйте, потому что дорога каждая минута, потому что каждую минуту, каждую секунду люди стръляють, люди убивають, люди падаютъ. Опомнитесь и дъйствуйте, ибо люди, и матери, и отцы, и дъти, и братья, и всъ, и всъ — ждуть отъ васъ, именно отъ васъ, чтобы вы — служители Христа, безстрашно жертвуя вашими жизнями, вмышались бы въ этотъ позоръ, и вставъ между безумцами, крикнули бы громко, -- громко потому, что васъ много, васъ такъ много, что вы можете крикнуть на весь міръ: — люди остановитесь, — люди перестаньте убивать! Вотъ, вотъ, вотъ въ чемъ вашъ долгъ.

Глядя на то, какъ Буркевицъ, странно взмахнувъ рукой, съ завалившейся головой, страшно трясясь и шатаясь, прошелъ мимо насъ и вышелъ за дверь на лъстницу, — у меня была только одна мысль: — пропалъ, эхъ, пропалъ ты, бъдный Васька.

Лишь черезъ мгновеніе, оглянувшись въ противоположномъ направленіи, я увидълъ, какъ красивымъ изгибомъ огладивъ косякъ, исчезла въ двери лиловая ряса.

И въ ту-же самую секунду, когда всѣ бросились другъ къ другу, взволнованно говоря и махая руками, — гдѣ-то внизу начался глухой гулъ, грозно усиливаясь, словно въ домъ ворвалась морская вода, шелъ онъ кверху, — отъ него дрожали окна и стѣны и полъ, и наконецъ и въ нашемъ корридорѣ гулъ этотъ разорвался оглушающимъ грохотомъ сквозь распахнувшіяся двери шестого и седьмого классовъ. Урокъ кончился.

Что бы не сообщать подробностей этого чрезвычайнаго происшествія двумъ младшимъ классамъ, заполнившимъ на время перемѣны корридоръ, — всѣ мы зашли въ классъ.

- Это же идіотъ, въдь это же и форменный идіотъ, говорилъ Штейнъ, кладя на плечо Яга свою бълую руку, которая на черномъ сукнъ походила на расплескавшеся пятно сливокъ.
- Нътъ, Штейнъ, ты братъ, не мъшайся, отстранился отъ него Ягъ. Ты, можно сказать, европеецъ, а тутъ, братъ, азіатское дъло. Ты пойми: толкованіе талмуда не нарушено, а потому тебъ волноваться не гоже.

И выждавъ, когда Штейнъ оскорбленно отошелъ къ своей партъ, Ягъ вполголоса обратился къ возбужденной группъ скопившейся у окна. — Въдь этому дивиться надо, — сказалъ Ягъ, — до чего наши еврейчики духовенство обожаютъ; попа, ни Боже мой, не тронь, — всъ жиды взбунтуются.

— Таккая сафпадэніе, — закачаль головой Такаджіевъ, но никто не засмъялся. Въ группъ шелъ горячій обмънъ мнъній. Однако никому не давали высказаться, взволнованно перебивая, оспаривая, отвергая. Одни говорили, что Буркевицъ правъ, что война никому не нужна, что она губительна и прибыльна только генераламъ и интендантамъ. Другіе говорили, что война дъло славное, будь войнъ — не было бы и Россіи, что нечего слюньтяйничать, а надо биться. Третьи говорили, что хотя война дъло ужасное, однако, въ настоящій моментъ вынужденное, и что если хирургъ во время операціи и разочаровался въ медицинъ, то это не даетъ ему еще права, не докончивъ опраціи, уйти и бросить больного. Четвертые говорили, что все это сплошное безуміе, и что въ берлинскихъ гимназіяхъ духовенство наврядъ ли выслушиваетъ ръчи по. добныя буркевицовской. Пятые говорили, что хотя война намъ и навязана, и что званіе великаго государства не допускаеть заговорить о мирь, однако мысль Буркевица правильная, и что духовенство всего міра, исходя изъ единыхъ принциповъ христіанства, обязано было бы, даже не считаясь съ опасностью преслъдованія его военнымъ закономъ, протестовать и бороться противъ дальнъйшаго веденія войны. Противъ послъдняго мнънія возражалъ Ягъ.

— Эхъ, ребятушки, — говорилъ онъ. — Да о какихътакихъ это вы христіанскихъ принципахъ говорите? Да ежели Буркевицу-то эти самые христіанскіе принципы такъ ужъ дороги, такъ съ чего же это онъ, дозвольте васъ спросить, три года съ нами ни единымъ словечкомъ не обмолвился? Три года, подумать только. А что-жъ мы ему худого сдълали, что посмъялись? Да завидя этакую соплю, тутъ бы и лошади засмъялись. Да я такой сопли, прости Господи, за всю жизнь не видывалъ. Такъ съ чего же это онъ, христіанинъ великій, мать его за ногу, на насъ три года волкомъ смотритъ, все укусить прилаживается. Нъ-ътъ, милые, тутъ дъло иное. Ему война, можно сказать, какъ воздухъ, необходима. Ему не христіанства надобно, а его нарушенія, — потому онъ паскуда бунтовать задумалъ. Вотъ оно что.

Я стоялъ поодаль и ръшалъ для себя: какъ могло все это случиться, что Буркевицъ, лучшій ученикъ, гордость гимназіи, несомнънный обладатель золотой медали, — какъ могло произойти, что этотъ Буркевицъ погибъ? То, что онъ погибъ было очевидно, потому что внизу, сегодня же, быть можеть уже теперь сзывають педагогическій совыть, который, конечно, единогласно выбросить его съ волчьимъ паспортомъ. Тогда прощай университетъ. И какъ же ему должно быть обидно, въ особенности, когда все это за десять дней до выпускныхъ экзаменовъ. (Я постоянно чувствоваль, что человъкъ испытываеть свое отчанние тъмъ остръе, чъмъ ближе удалось ему приблизиться ко вдругъ ускользающей отъ него конечной цвли, — котя этомъ прекрасно понималъ, что близость цъли нисколько не означаетъ большую непремънность ея достиженія чъмъ съ любой, значительно болье отдаленной отъ этой цъли, точки. Въ этомъ пунктъ у меня начиналось отдъленіе чувства отъ разума, практики отъ теоріи, — гдѣ первое сущесвовало наравнѣ со вторымъ, и гдѣ оба — разумъ и чувство — не были въ состояніи ни, помирившись, слиться воедино, — ни, поборовшись, одинъ другого побороть).

Но какъ-же могло съ Буркевицемъ случиться подобное? И что это: предумышленная расчетливость, или мгновенное безуміе? Я вспоминалъ вызывающую улыбку, которой Буркевицъ привлекъ на себя слова батюшки и рѣшалъ: предумышленный расчетъ. Я вспоминалъ трясущуюся голову Буркевица и пьяный его шагъ и перерѣшалъ: мгновенное безуміе.

Меня кръпко тянуло взглянуть на него и эта тяга къ Буркевицу тонко сплеталась изъ трехъ чувствъ: первое чувство было жестокое любопытство взглянуть на человъка. съ которымъ произошло большо несчастье; второе — было чувство молодечества по причинъ единичности моего поступка, ибо никто въ классъ даже не помышлялъ идти къ тому, кто уже почитался зачумленнымъ; третье — было чувство, сообщавшее мускулатуру первому и второму: увъренность въ томъ, что мое приближение или даже бесъда съ Буркевицемъ никакими непріятностями мнъ со стороны начальства не грозить. На часахъ оставалось двъ минуты до окончанія переміны. Выйдя изъ класса, протолкавшись вдоль по коридору, полному нестройнаго стука ногъ, звона голосовъ и вскриковъ, - я вышелъ на площадку лъстницы. Притворивъ за собою дверь, отчего крики и топотъ ногъ, обманувъ ухо, затихли, и только черезъ мгновеніе пришли заглушеннымъ густымъ гуломъ, — я оглянулся.

Лъстницей ниже, около двери карцера, который послъдніе десять лътъ не быль въ употрбленіи, и на которомъ висълъ рыжый ржавый замокъ, — сидълъ Буркевицъ. Онъ сидълъ на ступенькахъ, спиной ко мнъ. Онъ сидълъ раскорякой, съ локтями на колъняхъ, — съ упавшей въ ладони головой. Тихонько на носкахъ и очень мед-

ленно по ступенямъ, я началъ спускаться къ нему, при этомъ все гдядя на его спину. Его спина была выгнута горбомъ, — словно два острыхъ предмета подоткнутыхъ подъ шибко натянутое сукно — проступали лопатки, и въ этой скрюченной спинь и въ этихъ выльзающихъ лопаткахъ были и безсиліе, и покорность, и отчанніе. Тихонько подойдя къ нему сзади, все такъ, чтобы онъ меня не видълъ, я положилъ руку на его плечо. Онъ не вздрогнулъ и не открылъ лица. Только спина его еще больше сгорбатилась. Все глядя на его спину я осторожно перенесъ руку съ его плеча на его волосы. Но только я прикоснулся къ его тепловатымъ волосамъ, какъ почувствовалъ, что во мнъ тронулось что-то такое, отъ чего, если бы кто увидълъ, миъ стало бы совъстно. Оглянувшись такъ, чтобы это даже не было похоже на оглядывание, убъдившись. что на лъстницъ пусто, я ласково провелъ рукой по жесткимъ шоколаднымъ вихрамъ. Это было пріятно. Мнъ стало сразу такъ легко и такъ нъжно, что я еще и еще разъ провель по его волосамь. Не отнимая рукь оть уткнутаго вь нихъ лица, и потому не видя того, кто къ нему подошелъ и кто гладить его болосы. — Буркевиць вдругь глухимь произнесъ: — Вадимъ? Съ сквозь ладони звукомъ хрустальной грудью я сразу опустился и сълъ рядомъ съ нимъ. Буркевицъ сказалъ Вадимъ, онъ назвалъ меня по имени, и то что онъ сдълалъ это не видя того кто пришелъ къ нему, означало для меня впервые быть отмъченнымъ не за безсердечіе молодечества, а за отзывчивость и нъжность моего сердца. Мои пальцы сжались, захватили горячіе у корней жесткіе вихры волосъ, — и шибко дернувъ и вырвавъ лицо Буркевица изъ скорлупы закрывавшихъ его ладоней, я повернуль это лицо къ себъ, глаза въ глаза. Близко - близко я видълъ теперь передъ собою эти маленькіе сърыс глаза, странно измъненные отъ оттянутой къ затылку кожи, гдъ моя рука держала его за волосы. Съ секунду эти глаза въ хмуромъ своемъ страданіи смотръли на меня, но наконецъ, не смогши видно одолъть тугія мужскія слезы, они, заложивъ свиръпую складку промежъ

бровей, скрылись подъ въками. И тотчасъ, лишь только закрылись глаза, раздался незнакомый мнв лающій голосъ. — Валимъ. — Ты. — Милый. — Единъ. — Ственный. — Въришь — Такъ тяжело. — Я. — Отъ всей. — Отъ души. — Въришь. — И впервые чувствуя какъ сильныя мужскія руки обнимають и тискають мою спину, впервые прижимаясь щекой къ мужской щекъ, - я грубымъ, ругающимся голосомъ говорилъ. — Вася... я..: твой::: твой... «Другь» я все хотьль добавить, но «др» можеть еще сказаль бы, а воть на «v» боялся расплакаться. И жестоко оттолкнувъ Буркевица, качнувъ его лицо, которое и закрытыми глазами, и блъдностью своею, и короткимъ носомъ, походило на гипсовую бетховенскую маску, --- я, съ равнодушнымъ ужасомъ сознавая то страшное, что собираюсь сейчасъ сдълать, бросился внизъ по лъстницамъ. Я мчался по лъстницамъ такъ, какъ мчатся за врачемъ для умирающаго друга, мчатся не потому что врачъ можеть спасти, а потому, что въ этомъ движеніи, въ этой погонъ должна ослабнуть та тяга на себъ самомъ испытывать тъ страданія, видъ которыхъ возбудилъ это совершенно непереносимое чувство жалости.

Лъстница прошла. Въ подвально объденной залъ ноги приспосабливаются къ скольженію по сине-бълой кафели. Послъднее окно кускомъ солнца задъваетъ глаза, в сразу темная сырость раздъвальной, — по ея асфальтовому полу подошвы влипаютъ ввинченной увъренностью. И опять лъстница наверхъ. Я уже знаю начало, — «какъ истинный христіанинъ довожу до ващего свъдънія», — а дальше не важно, дальше пойдетъ какъ по маслу, по маслу, по маслу, по маслу, то маслу.

Шагать черезъ три ступени, да еще такія высоків какъ въ нашей гимназіи, понуждало подниматься какъ бы распластываясь по лістниців и съ низкимъ наклономъ головы. Поэтому-то я и не замітиль, что на верхней площадків уже давно смотрівль и поджидаль меня змішными глазами въ похоронномъ своемъ сюртуків директоръ гим-

назіи Рихардъ Себастьяновичъ Кейманъ. Лишь за нѣсколько ступеней я увидѣлъ прямо передъ глазами растущіе столбы его ногъ, которые отбросили меня такъ, словно выстрѣлили, но не попали.

Молча онъ нѣкоторое время смотрѣлъ на меня малиновывъ лицомъ и чернымъ клиномъ бороды. — Тю тякое съ вами, — наконецъ спросилъ онъ. Его презрительно ненавидящее «тю» вмѣсто «что», при которомъ его губы поцѣлуйно вылѣзли изъ подъ усовъ, — было той кнопкой, отъ которой восемь лѣтъ останавливались наши сердца.

Я позорно молчалъ.

— Тю съ вами тякое, — изъ презрительнаго баритона поднимая голосъ въ разволнованный и тревожный теноръ, повторилъ Кейманъ.

Мои руки и ноги тряслись. Въ желудкъ лежала знакомая льдина. Я молчалъ.

— Я хачу зна, та съ вами такая, пронзительной фистулой и чтобы не сорватся мъняя всъ гласныя на «а», крикнулъ Кейманъ. Его взвизгивающіе вопли, отдавшись объ каменные потолки, пошли шатунами вверхъ по мраморной парадной лъстницъ.

Но, въ то время какъ въ перерывахъ между директорскими криками, я безплодно пытался возбудить въ себъ, теперь все менъе понятное и совсъмъ высохшее, чувство жалости къ Буркевицу, которое привело меня сюда, — я одновременно чувствовалъ въ себъ все больше наростающую силу, силу жестокаго озлобленія противъ краснаго Кеймана, который здъсь на меня оралъ. И уже съ радостью сознавая, что злоба эта дастъ мнъ нужное опьяненіе, чтобы не осрамиться и чтобы сказать тъ самыя слова, которыя я и раныше хотълъ сказать, — я все же смутно соображалъ, хто хотя слова и останутся тъ-же, однако, подъ вліяніемъ смъны чувства, причина говоренія мною тъхъ же самыхъ словъ — перемънилась; — ябо раньше я ихъ хотълъ сказать изъ желанія причинить боль

самому себѣ, — теперь же единственно, чтобы доставить боль и оскорбить Кеймана. И выраженіемъ лица и звучаніемъ голоса придавая каждому слову значимость озлобленнаго хлопка по красной директорской мордѣ, — я сказалъ: — какъ истинный христіанинъ я вполнѣ и въ совершенной мѣрѣ, — но въ это мгновеніе, когда я уже задыхался отъ злобной ненависти, меня прервала горячая тяжесть легшей мнѣ на затылокъ руки. И тутъ же повернутымъ глазомъ я увидѣлъ лиловую грудь и на ней шибко опускающійся и поднимающійся золотой молотокъ креста.

— Вы, Рихардъ Себастьяновичъ, ужъ простите мнъ мое вмъшательство, — сказалъ батюшка, курносое и старое лицо котораго, оттого что я смотрълъ на него сильно скошеннымъ глазомъ, двоилось и плыло. — Это онъ шелъ ко мнъ.

Сказавъ это онъ, обнимая меня одной рукой за плечи, качнувъ глазами въ мою сторону, потомъ взглянулъ на директора и многозначительно зажмурился. — У насъ тутъ маленькое дъло, совсъмъ не гимназическое. Онъ шелъ ко мнъ.

Кейманъ изъ начальника вдругъ сдълался жуиромъ. — Но ради Бога, батюшка, я этого совсъмъ не зналъ. Вы меня, пожалуйста, простите. — И сдълавъ въ мою сторону широкій пригласительный жестъ, которымъ на сценъ хльбосолы зовутъ къ заставленному яствами столу, Кейманъ, повернувъ намъ спину разстегнулъ сюртукъ, и заложивъ руки въ карманы и качаясь и шаркая такъ, словно подходилъ къ дамъ, съ которой будетъ сейчасъ вальсировать, — пошелъ къ мраморной лъстницъ и тяжко кланяясь началъ подниматься.

Между тъмъ батюшка повернулъ меня къ себъ лицомъ и, положивъ свои руки мнв на плечи, этимъ движеніемъ соединилъ меня съ собой, точно параллельными брусьями, на которыхъ свернутыми флагами свисали широкіе рукава его рясы. Теперь я стоялъ спиной къ поднимающемуся Кейману, но наблюдая глаза батюшки, обращенные мимо меня въ сторону лъстницы, я видълъ ясно, что онъ ждетъ пока Кейманъ взойдетъ и скроется за лъстничнымъ поворотомъ.

- Скажите мнѣ, переводя наконецъ свой взглядъ съ лѣстницы на мои глаза, обратился ко мнѣ батюшка, скажите мнѣ теперь, мой мальчикъ. Почему вы хотѣли это сдѣлать? И его руки на словѣ «это» слегка сдавили мнѣ плечи. Но, уже примиренный и потому растерянный, я молчалъ.
- Вы молчите, мой мальчикъ. Ну что-жъ. Позвольте мнв тогда за васъ отвътить и сказать, что вы не сочли для себя допустимымъ, въ то время, какъ вашъ другъ, какъ вы думаете, губитъ себя за правду Христову, оставаться невредимымъ, ибо правда эта вамъ дороже благоустройства вашей жизни. Въдь такъ, да?

Хотя я въ это время думалъ о томъ, что это совсъмъ не такъ, и что отъ такого предположенія мнъ даже становится совъстно, — однако какая то сложная смъсь въжливости и уваженія къ этому старику побудила меня кивкомъ головы подтвердить его слова.

— Но разъ вы ръшились на подобный шагъ, — продолжалъ онъ, — такъ ужъ навърно не сомиввались, что первое что я сдълаю это нажалуюсь, донесу обо всемъ, что произошло наверху. Не такъ-ли, мой мальчикъ?

Хотя это предположение гораздо больше соотвътствовало истинъ чъмъ первое, — однако та-же смъсь въжливости и уважения удержала меня отъ того самаго, къ чему при первомъ вопросъ побудила. И ни кивкомъ головы, ни выражениемъ лица не подтверждая правоты его предположений, — я выжидательно смотрълъ въ его глаза.

— Въ такомъ случав, — сказалъ батюшка, глядя на меня какими-то по особенному расширившимися глазами, — въ такомъ случав вы ошиблись, мой мальчикъ. Поэтому ступайте къ вашему другу и скажите ему, что я эдвсь священникъ (онъ сдавилъ мнв плечи), но я не доносчикъ, нвтъ. И батюшка, какъ то сразу одряхлввъ и состарившись, словно потерявъ всякую решительность, все больше затихающимъ голосомъ еще сказалъ: — а ему... пусть

будетъ Богъ судья, что старика обидълъ; въдь у меня сынъ... (совсъмъ тихо, словно по секрету) — на этой войнъ... (и уже безъ голоса, вышептывающими губами) ...убитъ...

Еще въ самомъ началѣ, когда батюшка началъ со говорить, — та близость къ его бородатому лицу, къ которой понуждали его положенныя мнѣ на плечи руки — была мнѣ непріятна, и потому мнѣ все казалось, что руки его меня притягиваютъ. Теперь, однако, мнѣ почувствовалось, будто руки эти меня отталкиваютъ, — такъ ужасно захотѣлось мнѣ придвинуться къ нему поближе. Но батюшка вдругъ снялъ руки съ моихъ плечъ, и сердито отвернувъ налившіеся слезами глаза, быстро - быстро пошелъ мимо лѣстницы вдаль по коридору.

Лва чувства, два желанія были сейчась во мив: первое, — это прижаться къ батюшкиному лицу, поцеловать его и нъжно расплакаться; второе, — бъжать къ Буркевицу, разсказать все и жестоко посмъяться. Эти два желанія были какъ духи и эловоніе: они другь друга не уничтожали, — они другъ друга подчеркивали. Ихъ расхождение было только въ томъ, что желаніе прижаться къ батюшкиному лицу тымъ больше ослаблялось, чымъ дальше по коридору онъ отъ меня уходилъ, — а терзающее желаніе выболтнуть радостную въсть и погеройствовать, усиливалось по мъръ того, какъ я поднимался по лъстницъ къ мъсту, гдъ оставилъ Буркевица. И хотя я прекрасно зналъ, что излишняя восторженная торопливость очень повредитъ моему геройскому достоинству, -- все же не смогъ сдержаться и едва приблизившись къ Буркевицу сразу тремя словами выхлестнулъ все. Но Буркевицъ видимо не поняль и глядя поверхъ меня далекимъ и усталымъ отъ страданія взглядомъ — разсівянно, какъ бы изъ приличія, переспросилъ. Тогда уже болъе спокойно и даже весьма обстоятельно я началь разсказывать ему, какъ было двло. И вотъ тутъ-то, пока я разсказываль, съ Буркевицемъ начало дълаться совершенно то-же самое, что я однажды уже видълъ, наблюдая игру двухъ шахматистовъ. Пока на

шахматной доскъ - одинъ намозговалъ и сдълалъ ходъ, — другой, не глядя на доску, видно чемъ то разстроенный или возмущенный, разговариваль съ сидъвшими рядомъ людьми и размахиваль рукам. Его прервали — сказавъ, что противникъ сдълалъ ходъ, и онъ замолчалъ и сталъ смотръть на доску. Сперва въ его глазахъ еще свътился тотъ хвостикъ мыслей, которыхъ онъ не досказалъ. Но чъмъ дольше онъ смотрълъ на доску, тъмъ напряженнъе становились его глаза, и вниманіе, какъ вода на промокашкъ, захватывало его лицо. Не сводя глазъ съ доски, онъ то морщась, чесаль затылокь, то хваталь себя за нось, то выпячивалъ нижнюю губу - удивленно поднималъ брови, то закусывая губу — хмурился. Его лицо все мънялось, мвнялось, куда-то плыло, плыло, и наконецъ успокоилось, поставило точку своимъ усиліямъ и улыбнулось улыбкой лукаваго поощренія. И хотя я совершенно не разбирался въ шахматахъ, однако, глядя на этого человъка я зналъ, что онъ своей улыбкой воздаеть должное противнику, и что въ игръ случилось нъчто неожиданное, а главное такое, что непреодолимо препятствуеть его выигрышу.

соня.

1

Бульвары были какъ люди: въ молодости, въроятно, схожіе, — они постепенно мънялись въ зависимости отъ того, что въ нихъ бродило.

Были бульвары, гдв свтью длинныхъ скрещивающихся красныхъ палокъ отгораживался прудъ, съ такими жирными пятнами у береговъ, словно въ сальную кастрюлю налили воды, на зеленой поверхности которой паровознымъ паромъ проплывали облака, морщинившіяся, когда кто-нибудь катался на лодкв, — и гдв туть-же, неподалеку, въ большомъ, но очень низкомъ ящикв, безъ крышки и дна, и наполненномъ рыжимъ пескомъ, ковырялись двти, — а на скамьяхъ сидвли няньки и вязали чулки, и бонны матери читали книжки, и ввтерокъ — качающимися обоями — двигалъ по ихъ лицамъ, по колвнямъ и по песку твневые узоры листвы.

Были бульвары шумливые, гдѣ играла военная музыка, и въ мѣдныхъ начищенныхъ трубахъ — красной ящерицей заплывалъ въ небеса проходившій трамвай; гдѣ гуляя подъ грозный маршъ становилось немножко совѣстно, когда ноги противъ воли, какъ въ стыдную яму, попадали въ воинственный тактъ; гдѣ не хватало скамескъ и близь музкыи ставились раздвижные стулья съ зелеными желѣзными ножками и съ сидѣньями изъ ярко желтыхъ пластинокъ, прорѣхи которыхъ оставляли ступенчатыя складки на пальто; и гдѣ подъ - вечеръ, когда

трубы пѣли про Фауста, — въ ближней церкви начиналя остро и мелко тилибинить колокола, будто предупреждая о томъ, что сейчасъ бархатнымъ громомъ лопнетъ мѣдный ударъ, отъ которого вальсъ трубачей вдругъ послышится нестерпимо фальшивымъ.

И были бульвары на первый взглядъ скучные — не будучи ими. Тамъ сърый какъ пыль песокъ былъ уже такъ перемъщанъ съ съмячной скордупой, что вымести ее было невозможно, — тамъ писсуаръ формы приподнятаго надъ землей, недоразвернутаго свертка давалъ далекій и щиплющій глаза запахъ, — тамъ вечеромъ выходили въ лохмотьяхъ раскращенныя старухи и сиплыми, фонными, неживыми голосами за двугривенный разбазаривали любовь, - тамъ днемъ, не обращая вниманія на разорванный обручь и выпрыгивающую изъ него красавицу въ трико, въ персиковую ляжку которой вбитый гвоздь поддерживалъ этотъ цирковой соблазнъ, — шли мимо люди, шли не гуляя, а быстро, какъ по улицъ. -- и если кто и присаживался на пыльную, пустую скамью, такъ развъ ужъ для того, чтобы отдохнуть съ тяжелой ношей, или нажраться спичками Лапшина, или, — глотнувъ какой нибудь кислоты изъ аптекарскаго пузырька, - начавшейся болью остановить жизнь, и тутъ-же въ корчахъ свалиться на спину, навзничь, такъ — чтобы еще разъ, въ послъдній разъ, увидать надъ собой это жидкое, московское небо.

Уже было льто, выпускные экзамены давно были кончены, — но кипятить въ себъ восторгъ по причинъ того, что я наконецъ студентъ, становилось все тяжелье, и замътно я начиналъ еще больше тяготиться наступившимъ бездъльемъ, чъмъ тъми волненіями, которымъ оно являлось наградой. И только разъ или два на недълъ, когда у меня случалось нъсколько рублей, — примърно такъ, чтобы хватило заплатить за извозчика и за номеръ, — я выходилъ.

Эти нъсколько рублей, которые въ мъсяцъ составляли до сорока, очень тяжело ложились на жизнь моей ма-

тери. Уже безсмънно много лътъ она ходила въ постоянно доштопывающемся, разваливающемся, дурно пахнувщемъ платьицъ и въ ботинкахъ съ косо сбитыми, кривыми каблуками, отъ которыхъ, въроятно, еще больше болъли ея опухшія ноги, - но деньги, когда она ихъ имъла, она мит давала радостно, - я-же бралъ ихъ съ видомъ человъка, забирающаго въ кассъ банка какую-то чичтожную мелочь, снисходительная небрежность котораго при этомъ должна свидътельствовать о величинъ его текущаго счета. Совывстно на улицу мы не выходили никогда. Особенно я даже не скрывалъ того, что стыжусь ея рваной одежды, (скрывая при этомъ, что стыжусь ея некрасивой старости), она знала это, и встрътивъ меня разъ или два на улицъ, улыбаясь своей доброй, будто извиняющей меня улыбкой, смотрыла мимо и въ сторону, чтобы не заставить меня ей поклониться, или къ ней подойти.

Въ дни, когда у меня случались деньги, но всегда вечеромъ, когда кое-гдъ черезъ одинъ горъли фонари, закрыты были магазины и пустыли трамваи, - я выходилъ. Въ узкихъ діагоналевыхъ брюкахъ со штрипками, которыхъу же давно не носили, но которые слишкомъ хорошо обтягивали ноги, чтобы отказаться отъ нихъ, въ фуражкъ съ обвисающими полями ширины дамскихъ шляпъ, въ мундиръ съ высокимъ, выбивающимъ второй подбородокъ, суконнымъ воротникомъ, напудренный какъ клоунъ и съ навазелиненными глазами. — такъ шелъ я вдоль по бульварамъ, какъ въткой цепляя взглядомъ глаза всъхъ идущихъ навстръчу мнъ женщинъ. Никогда и ни одну изъ нихъ я, какъ это принято говорить, не раздъвалъ взглядомъ, какъ и никогда не испытывалъ чувственности тълесно. Шагая въ томъ горячечномъ состояніи, въ которомъ другой быть можетъ писалъ бы стихи, я, напряженно глядя во встръчные женскіе глаза, все ждаль такого же отвътнаго, расширеннаго и страшнаго взгляда. Къ женщинамъ, отвъчающимъ мнъ улыбкой, я не подходилъ никогда, зная, что на такой взглядъ, какъ мой —

улыбкой можетъ отвътить только проститутка или дъвственница. Въ эти вечерніе часы ни одно воображаемое тълесное обнаженіе не смогло бы такъ сразу пересушить горло, такъ заставить его задрожать, какъ этотъ женскій, жуткій и злой, пропускающій въ самое дно, хлещущій взглядъ палача, — взглядъ, какъ прикосновеніе половыхъ органовъ. И когда такой взглядъ случался, а рано или поздно онъ случался непремънно, я тутъ же на мъстъ поворачивался, догонялъ глянувшую на меня женщину, и подойдя прикладывалъ бълую перчатку къ черному козырьку.

Казалось бы, что взглядомъ, которымъ эта женщина ж я посмотръли другъ другу въ глаза, взглядомъ, словно часъ тому назадъ мы совмъстно убили ребенка, - казалось бы, что такимъ взглядомъ сказано уже все, все понято и говорить больше рышительно не о чемъ. На самомъ-же дълъ все обстояло гораздо сложнъе, и подойдя къ этой женщинъ и сказавъ фразу, смыслъ которой состояль всегда какъ-бы въ продолжения только что прерванной бесъды, — я принужденъ былъ еще говорить и говорить, дабы говоримыми словами вырастить и довести душевность нашихъ отношеній до соединенія ея съ чувственностью нашго перваго сигнальнаго Такъ, въ бульварныхъ потемкахъ, шли мы рядомъ, враждебно настороженные и все-таки какъ-то нужные другь другу, и я говорилъ слова, влюбленность которыхъ казалось темъ более правдоподобной, чемъ менее она была правдива. А когда наконецъ, руководимый той странной увъренностью, будто осторожность при нажатіи курка сдълаетъ выстрълъ менве оглушительнымъ, я, — какъ бы невзначай, какъ бы между прочимъ — предлагалъ поъхать въ гостиницу и провести тамъ часокъ, лишь за тъмъ, чтобы поболтать, и все это по причинъ-де того, что нынче погода (смотря по обстоятельствамъ) слишкомъ холодна или слишкомъ удушлива, — то уже по отказу (отказъ слъдовалъ почти постоянно), върнъе по его тону, — взволнованому-ли, возмущенному, спокойному, презрительному, боязливому или сомнъвающемуся, — я уже зналъ, есть ли смыслъ, взявъ эту женщину подъруку, упрашивать ее дальше, или же нужно повернуться и не прощаясь уйти.

Случалось иногда и такъ, что въ то время, какъ я догонялъ одну женщину, только что зацъпившую и позвавшую меня своимъ страшнымъ взглядомъ, — другая женщина, въ идущей мив навстрвчу толпв, тоже кидала мив такой-же откровенно зовущій и жуткій взглядъ. женный нервшительностью и непремвиностью быстраго выбора, я тогда останавливался, — но замътивъ, что вторая оглянулась — поворачивался и шелъ вслъдъ за ней, при этомъ все оглядывался на первую, которая уходила въ противоположномъ направлении все дальше, и вдругъ, замътивъ, что и она оглянулась, сравнивалъ снова объихъ, не догнавъ второй, снова бросался въ противоположную сторону за первой, часто не находиль ее, успъвшую далеко уйти, толкалъ встръчныхъ, задерживающихъ меня людей, метался въ поискахъ, и чъмъ больше метался, чъмъ дольше искалъ, тъмъ искреннъе върилъ въ то, что она, именно она, которая звала, оглянулась и скрылась въ этой проклятой толпъ, — есть та мечта и совершенство, которую, какъ всякую мечту, не настигну и не найду никогда.

Вечеръ, начинавшійся неудачей — предвіншаль ихъ цільй рядъ. Послі трехчасовой ходьбы по бульварамъ, послі цілаго ряда неудачъ, — гді одна неудача обусловливала другую, ибо съ каждымъ новымъ отказомъ я все больше терялъ огневую терпіливую хитрость и становился грубъ, — этой грубостью вымещая на каждой новой женщині всю оскорбительность моихъ неудачъ у ея предшественницъ, — я, усталый, измученный ходьбой, съ більми отъ пыли ботинками, съ пересохшимъ отъ обидъ горломъ, не только не испытывая чувственныхъ потребностей, но ощущая себя такимъ безполымъ, какъ никогда, — все-таки продолжалъ бродить по бульварамъ, словно какое то горькое упорство, закусившее удила, ка

кая-то горячая боль несправедливо отверженнаго удерживала меня, не пускала меня домой. Тяжелое чувство это мнъ было знакомо уже съ дътства. Однажды, когда я былъ еще совствъ мальчикомъ, въ начальный нашъ классъ поступилъ новичекъ, который мнв очень понравился, но съ которымъ я, страдая уже тогда стыдливостью относительно выказыванія своихъ душевнхыъ сторонъ, все не зналъ, какъ къ нему подойти и какъ съ нимъ сдружиться. И вотъ какъ-то, во время завтрака, когда мальчикъ этотъ вытащилъ пакетики и разворачивалъ свою булку, я, — желая шуткой начать наши отношенія, — подошель къ нему и сдълалъ такое движеніе, будто хочу вырвать у него его завтракъ. Къ моему, однако, удивленію новичекъ испуганно увернулся, эло покраснълъ и выругалъ меня. Тогда, заставивъ себя продолжать улыбаться, краснъя за эту свою улыбку, и какъ бы спасая достоинство этой уже жалкой улыбки, я еще разъ сдълалъ движение, будто всетаки хочу вырвать у него его завтракъ. Новичекъ развернулся и ударилъ меня. Онъ былъ старше и сильнъе меня, и онъ побилъ меня, — но потомъ, когда я въ дальнемъ уголкъ сидълъ и сопълъ и плакалъ, то слезы мои были особенно горьки не потому вовсе, что гдв-то больло, а потому что меня побили изъ-за трехкопеечной булки, къ которой я потянулся не для того, чтобы ее отнять, а для того, чтобы подъ предлогомъ ее отнятія — подарить свою дружбу, отдать частицу своей души. Вотъ такимъ то побитымъ я часто бродилъ въ эти долгія московскіе ночи, и когда по мъръ того, какъ все безлюднъе становились и соотвътственно понижались требованія, предъявляемыя мною ко внышности искомой женщины, я наконецъ находилъ на все согласную жалкую шлюху, то въ этотъ холодный, розовый и утренній часъ, подходя къ воротамъ гостиницы, уже примиренный отъ нея ничего, и если все-же оставался и бралъ номеръ, то дълалъ это больше изъ чувства своеобразной обязательности по отношенію къ этой женщинь, нежели ради удовольствія для самого себя. Впрочемъ, можетъ быть это

вовсе неправда, потому что какъ разъ въ такія минуты во мнв возникало, наконец, то ощущеніе явной чувственности, которое, какъ я предполагалъ, руководило мною весь вечеръ.

2.

Случилось это уже въ августь, когда вернувшійся изъ Казани Ягъ прямо съ вокзала завхалъ за мной, разбудиль, растормошиль, заставиль одъться и потащиль съ собою. Внизу его ждалъ лихачъ, но, видимо взятый съ вокзала, былъ не изъ лучшихъ. Лошадь была понура и мала для такой высокой. на автомобильныхъ пролетки, да и сама пролетка имъла на мою сторону шибкій кренъ, лакированныя крылья ея были растресканы и швы ихъ разлъзались рыжей гнильцой. Ягъ былъ въ свътло съромъ костюмъ съ морщинистыми складками на рукавахъ — въроятно отъ чемодана, въ бълой панамъ съ трехцвътной ленточкой, — а лицо его было желтое, съ красными, какъ крапивные ожоги, пятнами подъ глазами, и въ свътлыхъ волоскахъ бровей и въ уголкахъ глазъ — вагонная грязь. Я все присматривался къ чернымъ и влажнымъ крошкамъ гари въ углахъ его глазъ — испытывая бользненный соблазнъ вытащить ихъ оттуда пальцемъ, обернутымъ въ платокъ. Но Ягь понялъ мой взглядъ иначе. И все поднимая руку съ надътымъ на рукавъ и съъзжавшимъ внизъ крюкомъ палки, и пригибая передокъ панамы, который отъ вътра волнисто загибался, онъ улыбнулся мнв воспаленными губами. — Все такой же красавецъ, — крикнулъ онъ мнв сквозь вътеръ, — а между тымъ вижу, - туть его панаму опять загнуло вверхъ, -- вижу въ твоихъ глазахъ, -- кричалъ онъ, -безсмертную тоску безденежья. И что то бормоча въ вътеръ, кажется, - не взыщи, - или что то въ этомъ родь, Ягь, сморщившись и съъзжая на спинь, чтобы легче зальзть въ карманъ, вытащилъ трубочку сторублевыхъ, и, вырвавъ изъ нихъ одну, скомкалъ и воткнулъ мнв въ

руку. — Бери, бери, — элобно крикнулъ онъ, своей сер дитостью предотвращая мой отказъ; — чай отъ русскаго берешь, дура твоя голова, не отъ европейца какого-нибудь. И сразу заговорилъ о Казани и объ отцѣ, котораго называлъ папаней, и разсказывать стало вдругъ легко, потому что пролетка, къѣхавъ въ полосу асфальта, шла какъ въ сливочномъ маслѣ — ощущеніе, съ которымъ спорило цоканье копытъ, столь участившееся, точно лошадь вотъвотъ поскользнется.

Мнъ, однако, было нехорошо. Эти сто рублей, которые были для меня неожиданны и радостны, сдълали меня, какъ я этому внутрение ни упирался, униженно податливымъ по отношенію къ Ягу. Съ преувеличеннымъ вниманіемъ слушалъ я неинтересный для меня разсказъ о папанъ, заботливо давалъ Ягу мъсто, съ котораго онъ изъ-за крена все съъзжалъ въ мою сторону, и внутренне сопротивляясь и въ то-же время все больше подчиняясь этой подленькой необходимости, не только исходившей отъ моей воли, но просто даже противной ей, съ унизительной ясностью чувствоваль, какъ все больше теряю ту независимую насмъшливость надъ Ягомъ, то самое мое лицо, которому онъ собственно далъ эти деньги. Еще я чувствоваль, что это мое настоящее лицо гдь-то ужасно близко во мнъ, и что я верну его себъ тотчасъ, лишь только избавлюсь — не отъ денегъ, они миъ были нужны, а отъ присутствія Яга. Но уйти было нельзя и, воспользовавшись какой-то плоской Ягиной шуткой, и разсмъявшись ей столь отвратительно, что съ наслаждениемъ ударилъ бы самъ себя по мордъ, я, -- совершенно такъ, словно только-что своровалъ ихъ, — сунулъ деньги въ карманъ.

Водку пили въ какомъ-то ресторанъ трактирнаго пошиба, сугубо русское названіе котораго — Орелъ, — красовалось на вывъскъ бъльми буквами по желтому, переливающему въ зеленый, фону. Водку въ бъломъ чайникъ подавалъ половой, и я съ завистью каждый разъ смотрълъ, какъ Ягъ ее пилъ изъ чайной чашки. Онъ выливалъ водку себъ въ ротъ, горло совсъмъ не глотало, а лицо его послъ этого не только не морщилось, но всегда дълалось такимъ, будто въ него вошло что-то свътлое.

Я такъ не могъ. Мокрый водочный ожогъ, въ особенности послъ глотка, когда первое дыханіе, холодя пылающіе роть и горло, пріобрътало отвратительный запахъ спирта, былъ мив чрезвычайно противенъ. Я пилъ водку. потому что пьянство почиталось однимъ изъ элементовъ лихости, и еще потому, чтобы кому то и зачымь то доказывать силу: пить больше другихъ и быть трезвъе, чъмъ другіе. И хотя мнъ уже и самому было ужасно худо, и каждое движение нужно было себъ заказывать, а ужъ потомъ только съ чрезвычайной сосредоточенностью продълывать. — но я ощутиль это какъ пріятную побъду, когда Ягъ, уже послъ многихъ чайниковъ, выпивъ изъ чашки, вдругъ закрылъ глаза, началъ бълъть, и подперевъ голову ладонью, такъ дышалъ, что весь раскачивался. Въ помъщении уже горъло электричество, вокругъ лампы, смыкая кругь, носились мухи, и машина, трясясь деревянными лирами на синей съткъ, надрывно выпускала сквозь нее свою мертвую музыку.

Уже поздно, къ самому закрытію, мы еще попали въ модное кафе, и тамъ, глядя въ зеркала на свои невыспавшіяся лица, шагали по паркету, какъ по качающейся палубъ: съ наклономъ впередъ и быстро, когда она подънами приподнималась, — и откинуто назадъ и тормозяськогда она подъ нами падала. И тамъ же у швейцара, который по смъшенію величественности и подобострастія
напоминалъ опальнаго вельможу, Ягъ прикупилъ самогона, и еще сговорился съ двумя кельнершами ъхать сперва кататься, а потомъ къ нимъ домой.

Внизу, у темнаго и гулкаго пассажа, гдв намъ пришлось ихъ ждать, — мы перезнакомились. Ихъ звали Нелли и Китти, но Ягъ, тутъ же переиначивъ ихъ въ Настюху и Катюху и отечески хлопая всвхъ по задамъ, подгонялъ скорве садиться и вхать. У Китти я успвлъ разсмотрвть только ея маленькую сухопарую фигурку, и, то-

чно мышиные хвостики, приклеенные къ щекамъ колечки волосъ. Бхать мив пришлось съ Нелли, и вхать было пріятно и вътренно. Ръдкіе прохожіе и ряды фонарей были равно неподвижны, и лишь на извъстномъ приближении трогались изъ общаго ряда и пролетали мимо. Нелли сидъла рядомъ. Ея шея была замътно искривлена, но улыбкой и постоянно скошенными глазами ей временами удавалось преображать это уродство въ кокетливость. И въроятно потому, что въ моей головъ шибко дрожала водка. я. — освобождненый отъ необходимости воображать все то, что обо мив подумають прохожіе, — цвловаль ее. У нея была очень противная манера: пока я прижимался къ ея твердо зажатымъ, мокрымъ и холоднымъ губамъ, она мычала сквозь носъ ммм..., причемъ тональность этого ммм все повышалась, и на какой-то, самой высокой и пискливой нотв, она начинала вырываться.

Послъ темныхъ воротъ, надъ которыми, сквозь невидимый фонарь, керосиновой желтизной просвычивала восмерка, составленная изъ двухъ кокетливо тыхъ и несоприкасающихся кружковъ, и гдв лихачи, соскочивъ и съ обиженной грозностью просили прибавки, — Нелли и Китти, держа насъ за руки, тянули по темной лъстницъ и, долго провозившись съ замкомъ, ввели въ темный корридоръ чужой квартиры. Потомъ отворили еще какую то дверь, и въ темной комнать обозначилось предутренне свътлъющее окно, въ которое упала ночь, когда зажгли лампу. — Только тише, ради Бога тише, господа, — прикладывая къ горлу рабочую руку съ наманикюренными ногтями, умоляюще просила Нелли, въ то время, какъ Китти, осторожно отодвинувъ диванчикъ и зайдя за него, накидывала на стоячую лампу красный шелковый, съ бахромой, платокъ. — Милая, не сумлъвайтесь, — полнымъ голосомъ кричалъ Ягь, отчего дъвочки, какъ по командъ, такъ втянули головы, словно ихъ сейчасъ ударятъ. — Ежели ваши легкія и диванныя пружины въ исправности — шуму не будетъ. — И Ягъ стоялъ и улыбался, и закинувъ голову, широко раскрывалъ всъмъ свои объятія. Только когда, наконець, разсвлись на диванчикв у столика, и Ягь первымъ выпиль мутнаго, какъ болотная вода, самогону, — съ нимъ стало нехорошо. Его бълое лицо сразу шибко смокло, онъ шумно засопълъ носомъ, потомъ поднялся, широко раскрывая ротъ, пошелъ къ окну, и легши грудью на подоконникъ и сотрясаясь спиной, началъ блевать. Меня тоже мутило, я все глоталъ, глоталъ, но снова у меня сразу натекалъ полный ротъ. Китти сидъла, стыдливо закрывъ лицо руками, но сквозъ пальчики на меня смотрълъ ея смъющійся черный глазъ Нелли же смотръла на Яга, углы ея губъ были презрительно опущены, при этомъ она такъ покачивала головой, будто предчувствія ея относительно насъ полностью подтверждались.

Отъ окна Ягъ возвратился весьма довольнымъ и, вытирая слезы и ротъ, по новому предпріимчивый, шлепнулся къ намъ на диванъ. — Ну-съ, а теперь пожалуйте бриться, — сказалъ онъ. И обнявъ Нелли, началъ притискивать ее къ себъ. Каждый разъ, когда она отбрасывала его лицо ладонью, Ягъ, не выпуская ее, оборачивалъ голову и смотрълъ на меня, а я, словно подбадривая его въ какомъ то очень смъшномъ дълъ, поощрительно ему улыбался. Чтобы окончательно притянуть къ себъ Нелли, Ягъ валился все больше въ ея сторону, и наконецъ, высоко поднявъ ногу, которая гуляла въ воздухъ въ поискахъ опоры, — уперся ею въ столъ и съ силою толкнулъ его отъ себя.

Нъсколько секундъ послъ этого, показавшагося намъ такимъ страшнымъ, грохота, — мы сидъли, какъ закованные, прислушиваясь и громко дышали. Въ посвътлъвшемъ окнъ видно было, какъ на проводахъ сидъли воробьи, и это напоминало колючую проволоку. Съ ужасными предосторожностями, стараясь не производить при этомъ ни единаго звука, я началъ поднимать упавшій столикъ такъ, словно тишина, при которой я его подниму, могла въ какой нибудь мъръ уменьшить грохотъ, произведенный его паденіемъ. — Ну, авось, — началъ было Ягъ, но

съ бъщеными глазами Нелли сдълала шшш, а Китти предостерегающе вытянула руку и все продолжала ее такъ держать. И въ самомъ дълъ, какъ разъ въ этотъ момнтъ, гдъ то въ корридоръ тихо хлопнуло, потомъ зашаркало, потомъ приблизилось и наконецъ затихло у самой нашей двери, ручка которой медленно и грозно начала опускаться внизъ. И сперва въ пріоткрывшуюся дверную щель на меня тревожно посмотрълъ испуганный глазъ, а затъмъ дверь широко и нахально распахнулась и въ комнату со скандальной рышительностью шагнула мужская пижама съ поднятымъ вокругъ прелестной женской головки воротникомъ. Ея высокіе каблуки красныхъ и безъ задниковъ туфелекъ, волочились и стучали по паркету. — Нну, — сказала она, глядя на Нелли и Китти, будто ни меня, ни Яга въ комнать не было. — Вы, я вижу, очаровательныя жилицы. И это что же у васъ такъ каждую ночь и будетъ, мм? Нелли и Китти сидъли рядомъ на диванъ. Нелли, со своей кривой шеей, широко раскрытыми глазами смотръла въ лицо говорившей, мигая и открывъ ротъ. Китти опустила голову, пальцемъ рисовала круги на кольняхъ, хмурясь, и какъ для свиста вытянула Всьхъ выручиль Ягъ, и не потому вовсе, что былъ ужъ очень пьянъ, а потому что, притворяссь шибко пьянымъ, онъ какъ бы выключалъ себя изъ числа виновныхъ. Раскрывая объятія такъ напряженно широко, что въ кольняхъ сгибались ноги, онъ животомъ впередъ тяжело двинулся навстръчу пришедшей и, затянувъ пьянымъ блеяньемъ какую-то пъсню, тутъ же я оборвалъ и радостоно остановился. И тутъ же между мной и хорошенькой владълицей квартиры произошель слъдующій разговорь

Она. Вашъ товарищъ прекрасно поетъ. Почему только онъ закрываетъ глаза. Ахъ, впрочемъ, да: чтобы не видъть, какъ я закрываю уши.

Я. Остроуміе придаетъ облику женщины то самое, что мужской костюмъ ен фигуръ: подчеркиваетъ имъющіеся у нея прелести и недостатки.

Она. Боюсь, что только благодаря моему костюму вы одънили мое остроуміе.

Я. Это изъ въжливости. Было бы жаль по вашему остроумію оцівнивать вашу фигуру.

Она. Вашей въжливости можно было бы предпочесть галантность.

Я. Благодарю васъ.

Она. За что?

Я. Въжливость безпола. Галантность сексуальна.

Она. Въ такомъ случав спвшу васъ завврить, что не въ моихъ намвреніяхъ ждать отъ васъ галантности. Да, впрочемъ, и гдв вамъ. Для того, кто галантенъ — женщина пахнетъ розой, а для такихъ, какъ вы, видно даже роза пахнетъ женщиной. А спроси васъ, такъ вы даже и не энаете толкомъ, — что такое женщина.

Я. Что такое женщина? Нътъ, почему-же, — знаю. Женщина, это все равно, что шампанское: въ холодномъ состояніи шибче пьянитъ и во французской упаковкъ — дороже стоитъ.

Развъвая штаны и хлюпая каблуками, она подошла ко мнв. — Если ваше опредвление правильно. — тихо сказала она, выразителньо косясь на Нелли и Китти, -то я имъла бы право утверждать, что вашъ винный погребъ оставляетъ желать много лучшаго. — Испытывая стыдливый восторгъ побъдителя, я опустилъ голову и молчалъ. — Впрочемъ, — торопливо и почти шопотомъ добавила она. — можетъ быть мы эту колючую бесьду когда-нибудь сумвемъ продолжить. Меня вовутъ Соня Минцъ. — И опуская головку, какъ бы заглядывая мнъ въ лицо, пока я склонившись, почтителньо цъловалъ поданную мит руку, она съ удивленнымъ поощрениемъ произнесла о-о, — и состроила лисью мордочку, отчего китайски косыми сдълались ея ужасно синіе глаза. И тотчасъ, лишь только она, на этотъ разъ всецвло обращаясь ко мив и къ Ягу, словно ни Нелли, ни Китти въ комнатв и не было, сказала намъ, что ничего не имъетъ противъ нашего здъсь пребыванія, и только просить вести себя тише — лишь только сказавъ все это, она вышла и закрыла за собою дверь, какъ тотчасъ, словно по молчаливому уговору, или въ одинаковости испытываемыхъ нами чувствъ, — Ягь разыскалъ свою панаму и палку, я взялъ фуражку и мы начали прощаться. И было такъ: пока Нелли и Китти провожали насъ по корридору, какое то отвращеніе, какая-то боязнь, что тамъ, въ квартирѣ, услышатъ интимно сказанное между нами и связывающее меня съ этими дѣвочками слово — толкало меня возможно скорѣе уйти отъ нихъ, не притрагиваясь, не разговаривая съ ними, отдѣлиться отъ нихъ; но когда, спустившись съ лѣстницы, я вышелъ во дворъ, мнѣ вдругъ стало жаль этихъ Нелли и Китти, мнѣ стало какъ то по хорошему жаль этихъ двухъ дѣвочекъ, словно ихъ кто-то, и я въ томъ числѣ, горько и незаслуженно обидѣлъ.

3.

На следующее утро я проснулся, или вернее быль просто разбуженъ чувствомъ ръжущаго безпокойства, напряженная радостность котораго была для меня очень необычна въ оболочкъ тяжкой головной боли, жестяной сухости во рту и той, обычной послъ водки, серіи уколовъ въ сердце, словно туда зашили иглу. Было еще рано. По корридору прошлепала нянька и шептала пщ, пщ, пщ, - и слова, которыя она подразумівала подъ этими пщ, пщ, и которыя приписывались ею тому лицу, съ которымъ она вела споръ, — видимо настолько ее возмутили, что, остановившись у самой моей двери, она воскликнула: -ишь, ты, какъ бы не такъ. Я легъ на бокъ, свернулся и врдохнулъ — дескать какъ мив тяжко, — въ то время какъ мив было такъ славно и такъ радостно, -- и сдвлалъ видъ, что хочу заснуть, зная прекрасно, что въ такомъ радостномъ безпокойствъ не только заснуть, но и лежатьто совершенно невозможно. Изъ кухни стало слышно. какъ изъ открытаго водопровода сухо застрекотала струя, которая отъ подставленной подъ нее кастрюли пе

решла въ звенящій, тонально повышающійся, гулъ. И въ звукахъ этихъ было нъчто столь волнующее, что въ необходимости выпустить излишекъ моихъ радостей, я приподнялся, и, шевельнувъ зашитую въ сердце иглу и разливая ядовитую тупую боль по темени, изо всъхъ заоралъ няньку. Водопроводъ сразу затихъ, но туфельнаго шлепанья совствить не было слышно и потому вдругъ и безшумно, какъ по воздуху, нянька вошла въ дверь. Однако, даже и не глядя, я зналъ совершенно безошибочно, чъмъ вызвана эта безшумность ея шаговъ. — Что это, Вадичка, — сказала она, — ни свътъ, ни заря, ты кричишь такъ. Только барыню разбудишь. — Ея шестидесятильтнее, крошечное, цвыта осенняго листа личико, было пасмурно и озабочено. — Ты что-же, чертова кукла, теперь латомъ въ валенкахъ ходишь, — спросилъ я ее, и не подымая головы, слушаль, какъ между затылкомъ и подушкой затихающе дрожить тупая боль. --Очень ноги болять, Вадичка, — сказала она просительно, а потомъ сразу дъловито: — только за тъмъ и звалъ? — И нянька, укоризненно раскачивая головой и закрывъ ладонью роть, смотрыла на меня смыющимися и любящими глазами. — Да. да. — сказалъ я, стараясь обмануть ее соннымъ спокойствіемъ голоса, — только за тымъ, — и тутъ-же бъшено выпрыгнулъ изъ кровати и, согнувшись вдвое, какъ убійца передъ прыжкомъ, закидывая назадъ руки, словно въ нихъ были кинжалы, и топающими босыми ногами изображая преследование уже въ страхе бъгущей няньки, дико оралъ: — пшла, эй, догоню улюлю, брысь отсюда.

Этимъ, однако, то представленіе, которое я въ это утро разыгрывалъ передъ воображаемыми мною синими глазами Сони Минцъ, нисколько не закончилось. Все, что я дълалъ въ это утро — я дълалъ не такъ, какъ обычно, а именно такъ, будто и вправду эта Соня неотрывно смотръла и слъдила за мною съ восхищеніемъ. (Восхищеніе ея я приписывалъ именно тому измъненію, которое отличало мои сегодняшнія дъйствія отъ обычныхъ). Такъ,

вынувъ изъ шкапчика чистую и единственную мою шелковую рубашку, я осмотръвъ, бросилъ ее на полъ только потому, что въ плечъ чуть-чуть разошелся шовъ, и потомъ такъ ходилъ по ней ногами, словно у меня ихъ дълая дюжина. Бреясь и поръзавшись, продолжалъ скоблить по ръзанному мъсту, будто мнъ вовсе и не больно. Мъняя и скинувъ бълье, выпячивалъ до послъдней возможности грудь и втягивалъ животъ, точно и вправду у меня такая замъчательная фигура. Отвъдавъ кофе, съ капризной избалованностью отставилъ его въ сторону, хотя оно было вкусно и мнъ хотълось его выпить. Невольно въ это утро и впервые я столкнулся съ этой удивительной и непобъдимой увъренностью, что такимъ, каковъ я на самомъ дълъ есмь, я никакъ не смогу понравиться, полюбиться любимому мною человъку.

Когда, заботливо прощупавъ въ карманъ яговскую сторублевку, я вышелъ на улицу, — было часовъ одиннадцать. Солнца не было, небо было низкимъ и рыхло бълымъ, но вверхъ нельзя было смотръть — слезило глаза. Было душно и парило. Мое безпокойство все усиливалось. Оно владъло всъми моими чувствами и уже даже бользненно ощущалось въ верхней части будто портящагося желудка. По дорогь въ цвъточный магазинъ, проходя мимо модной и дорогой гостиницы, я зачъмъ-то рвшилъ зайти. Толкнувъ четырехстворчатую двери, въ зеркальное стекло которой дрогнувъ, повхалъ сосъдній домъ, я зашелъ внутрь и перешелъ вестибюль. Но въ кафе было такъ пустынно, такимъ безпокойствомъ путеществія пахли эти запахи дыма, крахмала скатертей, меда, кожи креселъ и кофе, что почувствовавъ, что не высижу здъсь и одной минуты, сдълавъ видъ, будто кого-то разыскиваю, снова вышелъ на улицу.

Точно я не зналъ, когда именно возникло во мић рфшеніе послать Сонт цвты. Я только чувствовалъ, что объемъ этого рашенія возрасталъ по март моего приближенія къ цвточному магазину: сперва я представлялъ себъ, что пошлю ей корзину за десять рублей, потомъ за двадцать, потомъ за сорокъ, — и такъ какъ, по мъръ возрастанія количества цвътовъ, росло радостное изумленіе Сони, — то уже вблизи магазина я укръпился въ необходимости истратить на цвъты всъ имъвшіеся у меня сто рублей. Пройдя мимо цвъточнаго окна, въ которомъ цвъты морщились заплаканными пятнами, изнутри по стеклу стрила вода, — я переступилъ порогъ. И вдохнувъ сырой и душистый сумракъ, — вдругъ мысленно зажмурился отъ внутренняго и страшнаго удара: въ магазинъ стояла Соня.

На мив была старая, еще гимназическая фуражка, съ выцвытшимъ околышемъ и треснувшимъ козырькомъ, — на мив былъ вчерашній несвыжій китель, потрепанные и съ выбитыми кольнями брюки, у меня нехорошо тряслись ноги, и я гадко, какъ на пожары, вспотылъ. Но уйти было невозможно: передо мной стояла продавщица и спрашивала — угодно-ли мосье корзину или букетъ — и уже успыла указать рукой на десятокъ различныхъ цвытовъ, знакомыхъ мив по виду, но которымъ я въ большинствы не зналъ названій, и потомъ перечислила съ десятокъ названій, большинство которыхъ я не зналъ, какъ они выглялятъ.

Какъ разъ теперь Соня совсѣмъ обернулась и, спокойно улыбаясь, пошла на меня. На ней былъ сѣрый костюмъ, пучекъ суконныхъ фіалокъ былъ скверно приколотъ и морщилъ бортъ, ботинки ея были безъ каблуковъ и шагая она не по женски выворачивала носки. Только, когда она прошла мимо меня къ кассѣ, находившейся позади, я уразумѣлъ наконецъ, что улыбалась-то она вовсе не мнѣ, и вообще не тому, что видѣла, — а тому, о чемъ думала. И тутъ-же за моей спиной ея голосъ, какой то особенный, съ трещинкой, который я все утро никакъ не могъ вспомнить, сказалъ распахнувшему передъ ней дверь приказчику: пожалуйста, цвѣты пошлите сейчасъже, а то господинъ этотъ можетъ уйти и очень будетъ досадно. Спасибо, — и она вышла. Когда по дорогъ домой я все высматривалъ мъстечно, куда-бы мнъ выбросить эти, приличія ради, купленныя нъсколько гвоздикъ, — я уже зналъ, что съ Соней покончено навсегда.

Конечно, я прекрасно понималь, что между мною и Соней ръшительно ничего еще не было, что все, что было — это было не въ отношеніяхъ съ нею, а только во мы самомъ, что очевидно Соня объ этихъ моихъ чувствахъ знать не можетъ, и что я видимо принужденъ буду какъ-то передать и возбудить въ Сонъ мои чувства. Но вотъ именно это-то сознание необходимости добиваться Сониной любви, эта необходимость излагать, убъждать, уговаривать въ моихъ чувствахъ какое-то мнв недоввряющее, и значить чужое мив существо, — все это съ совершенной искренностью говорило мнв, что съ Соней все кончено. Можетъ-быть и вправду въ ухаживаніи есть какая-то противная ложь, какая-то обсахаренная улыбками настороженная враждебность. Но теперь я это чувствоваль особенно остро, и какая-то оскорбленная горечь отталкивала меня отъ живой Сони, лишь только я начиналъ думать о необходимости добиваться ея любви. Хорошенью я не могъ объяснить себь это трудное чувство, но мнв казалось, что если бы меня, честнаго человъка, заподозрила бы въ кражъ любимая мною дъвушка, то совершенно такое же чувство оскорбленной горечи не допустило бы меня до униженія убъждать ее, эту любимую мною дъвушку, въ моей невинности, — между тъмъ какъ съ совершенной легкостью я это сдълаль бы по отношенію къ любой другой женщинь, къ которой-бы быль равнодушень. Въ эти короткія минуты я впервые и на самомъ себъ убъждался въ томъ, что даже въ самомъ скверненькомъ человъчкъ бывають такія чувства, такія непримиримо гордыя и требующія безоговорочной взаимности чувства, которымъ страданіе горькаго одиночества милье радостей успъха, достигнутаго унижающимъ посредничествомъ разума.

И что это за господинъ, которому она посылаетъ цвъты. — думалось миъ, и усталость была такой, что та-

нуло лечь туть-же на льстниць. Господинъ. Госпо-динъ. Что-же это такое за слово. Баринъ — да, это понятно и убъдительно. А господинъ это что-же, это финтифлюшка какая-то. Я отомкнулъ дверь, прошелъ корридорчикъ нашей бъдной квартирки и въ чаяніи скорье лечь на диванъ прошелъ къ себъ въ комнату. Въ ней уже прибрали, но было по лътнему пыльно, свътло и убого. А на письменномъ столикъ лежалъ пузатый пакетъ изъ бълой шелковой бумаги и заколотый по шву булавками. Это были Сонины цвъты, съ запиской и съ просъбой встрътиться сегодня-же вечеромъ.

4.

Къ вечеру дождь пересталъ, но тротуары и асфальть были еще мокры, и фонари въ нихъ отсвъчивались, какъ въ черныхъ озерахъ. Гигантскіе канделябры по бокамъ гранитнаго Гоголя тихо жужжали. Однако ихъ молочные, въ сътчатой оправъ, шары, висъвшіе на вышкахъ этихъ чугунныхъ мачтъ, плохо свътили внизъ и только кое-гдъ, въ черныхъ кучахъ мокрой листвы мигали ихъ золотыя монеты. А когда мы проходили мимо, — съ остраго, съ каменнаго носа отпала дождевая капля, въ паденіи зацънила фонарный свътъ, сине зажглась и тутъ-же потухла. — Вы видъли, — спросила Соня. — Да. Конечно. Я видълъ.

Медленно и молча мы прошли дальше и завернули въ переулокъ. Въ сырой тишинъ было слышно, какъ гдъ-то играли на роялъ, но, — какъ это часто бываетъ со стороны улицы, — часть звуковъ была вырвана, до насъ доходили только самые звонкіе и такъ пронзительно шлепались о камни, будто тамъ въ комнатъ лупили молоткомъ по звонку. Лишь подъ самымъ окномъ вступили выпадавшіе звуки: это было танго. — Вы любите этотъ испанскій жанръ, — спросила Соня. Наугадъ я отвътилъ, что нътъ, не люблю, что предпочитаю русскій. — Почему? — Я не зналъ, почему. — Соня сказала: — испанцы всегда

поютъ о тоскующей страсти, а русскіе о страстной тоскъ, — можетъ-быть поэтому, мм? — Да. Конечно. Да, именно такъ.... Соня, — сказалъ я, со сладкимъ трудомъ преодолъвая ея тихое имя.

Мы зашли за уголъ. Здъсь было темнъе. Только одно нижнее окно было очень ярко освъщено. А подъ нимъ, на мокрыхъ и круглыхъ булыжникахъ, свътился квадратъ, словно на землъ стоялъ подносъ съ абрикосами. сказала — ахъ — и выронила сумочку. Быстро наклонившись, я подняль сумочку, досталь платокь и началь ее вытирать. Соня-же, не глядя на то, что я дълаю, а напряженно глядя мнв въ глаза, протянула руку, сняла съ меня фуражку и осторожно, какъ живую кошечку, держа ее на согнутой рукъ, гладила кончиками пальцевъ. Можетъ-быть поэтому, а можетъ быть еще потому, что она все неотрывно смотрела мне въ глаза, - я, (сумочка въ одной, платокъ въ другой рукв), въ жестокой боязни. что вотъ-вотъ упаду въ обморокъ, шагнулъ къ ней и обнялъ ее. — Можно, — сказали ея утомленно закрывшіеся глаза. Я склонился и прикоснулся къ ея губамъ. И можетъбыть именно такъ, съ такой же нечеловъческой чистотой, съ такой же, причиняющей драгоцанную боль, радостной готовностью все отдать, и сердце и душу когда-то, очень давно, сухіе и страшные и безполые мученики прикасались къ иконамъ. — Милый, — жалобно говорила Соня, отодвигая свои губы и снова придвигая ихъ. — дътка, — родной мой, — любишь, да — скажи-же. Напряженно я искалъ въ себъ эти нужныя мнъ слова, эти чудесныя, эти волшебняы слова любви, — слова, которыя скажу, которыя обязанъ сейчасъ-же сказать ей. Но словъ этихъ во мнв не было. Будто на влюбленномъ опыть своемъ я убъждался въ томъ, что красиво говорить о любви можетъ тотъ. въ комъ эта любовь ушла въ воспоминанія, — что убъдительно говорить о любви можеть тоть, въ комъ она всколыхнула чувственность, и что вовсе молчать о любви долженъ тотъ, кому она поразила сердце.

Прошло двъ недъли и въ теченіи ихъ мое ощущеніе счастья съ каждымъ днемъ становилось все болье безпокойнымъ и лихорадочнымъ, съ примъсью той надрывной тревоги, присущей въроятно всякому счастью, которое слишкомъ толсто сплывается въ нъсколькихъ дняхъ, вмъсто того, чтобы спокойно и тоненько разлиться на годы. Во мнъ все двоилось.

Двоилось ощущеніе времени. Начиналось утро, потомъ встрівча съ Соней, обіндъ гдів-нибудь внів дома, поінздка за городъ, и вотъ уже ночь, и день былъ, какъ упавшій камень. Но достаточно было только пріоткрыть глаза воспоминаній — и тотчасъ эти нівсколько дней, столь тяжело нагруженныхъ впечатлівніями, пріобрівтали длительность мівсяцевъ.

Двоилась сила влеченія къ Сонѣ. Находясь въ присутствіи Сони въ безпрерывномъ и напряженномъ стремленіи нравиться ей и въ постоянной жестокой боязни, что ей скучно со мною, — я къ ночи бывалъ всегда такъ истерзанъ, что облегченно вздыхалъ, когда Соня, наконецъ, уходила въ ворота своего дома и я оставался одинъ. Однако, не успѣвалъ я еще дойти до дому, какъ снова начинала зудѣть во мнѣ моя тоска по Сонѣ, я не ѣлъ и не спалъ, дѣлался тѣмъ лихорадочнѣе, чѣмъ ближе подступала минута новой встрѣчи, чтобы уже черезъ полчаса совмѣстнаго пребыванія съ Соней — снова замучиться отъ потуги быть занимательнымъ и почувствовать облегченіе, когда оставался одинъ.

Двоилось ощущение цвльности моего внутренняго облика. Моя близость къ Сонв ограничивалась поцвлуями, но поцвлуи эти вызывали во мнв только ту рыдающую нвжность, какъ это бываетъ при прощаніи на вокзаль, когда разстаются надолго, можетъ-быть навсегда. Такіе гоцвлуи слишкомъ двйствуютъ на сердца, чтобы двйствовать на твло. И поцвлуи эти, будучи какъ-бы стволомъ, на которомъ расли отношенія съ Соней, по-

нуждали меня превращаться мечтательнаго и даже Въ наивнаго мальчика. Соня словно сумъла призвать къ жизни тъ мои чувства, которыя давно перестали во мнъ дышать, которыя были поэтому моложе меня, своей молодостью, чистотой и наивностью, соотвътствовали моему грязному опыту. Таковъ я былъ съ Соней и уже черезъ нъсколько дней увъровалъ въ то, что я и на самомъ дълъ есть таковъ, что ничего и никого другого во мив быть не можеть. Однако, черезъ два-три дня, встрътивъ на улицъ Такаджіева, (которому я еще въ гимназіи къ его вящему удовольствію и одобренію проповъдывалъ мой «сугубый» взглядъ на женщинъ), и который въ теченіе последнихъ дней уже несколько разъ видълъ меня въ обществъ Сони, — я, еще издали увидавъ Такаджіева, почувствовалъ внезапно какую-то странную совъстливость передъ нимъ и непремънную необходимость оправдаться. Въроятно, совершенно совъстливость долженъ испытывать воръ, отказавшійся отъ своего ремесла подъ вліяніемъ трудовой семьи, въ которой онъ поселился, и который теперь, своего былого товарища по воровству, совъстится передъ нимъ, что до сихъ поръ не обворовалъ своихъ благодътелей. И послъ привътственной матерщины я разсказаль ему о томъ, что мои частыя свиданія съ этой женщиной (это съ Соней-то) объясняются исключительно эротическими потребностями, которыя она-де умопомрачительно умъетъ возбуждать и удовлетворять. Моя двойственность, моя раздвоенность при этомъ заключалась не столько въ той лжи, которую говорили мои губы, сколько въ той правдивости, съ которой всколыхнулось во мнв естество наглаго молодчины и ухаря.

Двоились чувства къ окружающимъ людямъ. Подъ вліяніемъ моихъ чувствъ къ Сонъ я сталъ, — по сравненію съ тъмъ, какъ это было раньше, — чрезвычайно добръ. Я щедро давалъ милостыню, (болъе щедро, когда бывалъ одинъ, нежели въ присутствіи Сони), я постоянно дурачился съ нянькой, и какъ-то, возвращаясь поздно

ночью, вступился за обиженную прохожимъ проститутку. Но это новое для меня отношеніе къ людямъ, это, какъ говорится, радостное желаніе обнять весь міръ, — тотчасъ обнаруживало желаніе этотъ-же миръ разрушить, лишь только кому нибудь, хотя бы и косвенно, приходилось противоборствовать моей близости и моимъ чувствамъ къ Сонъ.

Черезъ недълю тъ сто рублей, что далъ мнъ Ягъ — были истрачены. Оставалось лишь нъсколько рублей, съ которыми я уже не могъ встрътиться съ Соней, ибо въ этотъ день мы уговорились вмъстъ объдать и потомъ ъхать и оставаться до ночи въ Сокольникахъ.

Выпивъ утреннее кофе, съ отвращениемъ глотая его въ той взволнованной сытости, которая доходила до ръзи въ желудкъ, — все отъ мысли о томъ, — что-же будетъ, и какъ-же мнъ при этомъ безденежьи удастся проводить всв эти дни съ Соней, — я зашель въ комнату къ матери и сказалъ, что мив нужны деньги. Мать сидвла у окна въ какая-то особенно и была въ этотъ лень желтенькая. На кольняхъ у нея спутанно лежали разноцвътныя нитки и какое то вышиванье, но руки ея лежали какъ брошенныя, а выцвътшіе старые глаза въ тяжелой неподвижности смотръли въ уголъ. - Мнъ нужны деньги. — повторилъ я, по утиному растопыривая пальцы, ибо мать не шелохнулась. - мн нужны деньги и немедленно. Мать съ видимымъ трудомъ чуть приподняла руки и въ покорномъ отчаяніи дала имъ упасть. — Ну, что-же, — сказаль я, — если денегь нъть, такъ дай мив твою брошь, я заложу ее. — (Эта брошь была для матери какъ-бы священной и единственной предметной памятью объ отцъ). Все также не отвъчая и все также тяжело глядя прямо передъ собою, мать шибко трясущейся рукой пошарила за пазухой старенькой своей кофточки и вытащила оттуда канареечнаго цвъта ломбардную квитанцію. — Но мив нужны деньги, — кричаль я въ плаксивомъ отчаяніи при одномъ представленіи о томъ, что Соня уже ждетъ меня и я не смогу къ ней придти, — мнъ нужны

деньги и я продамъ квартиру, я пойду на преступленіе, чтобы добыть ихъ. Быстро пройдя нашу маленькую столовую и выбъжавъ самъ не зная зачъмъ въ корридоръ. я наткнулся на няньку. Она подслушивала. — Тебя еще только, старый черть, не хватало, — сказаль я, жестоко толкнувъ ее и желая пройти. Но нянька, дрожа отъ смълости, словно для поцалуя захвативъ мою руку, сдерживая меня и глядя на меня снизу вверхъ тъмъ щимъ - настойчивымъ взглядомъ, которымъ она всегда смотръла на икону, — зашептала. — Вадя, не обижай ты барыню. Вадя, не добивай ты ее; она и такъ сидитъ неживая. Нынче день смерти твоего отца. — И глядя мив уже не въ глаза, а въ подбородокъ, утеревъ ладонью пуговичный носикъ и по старушечьи законфузившись, добавила: — а денегъ, коли надо, можетъ у меня возъмешь. А? — Возьми, сдълай милость. Возьми ради Возьмешь, — а. Возьми, не обезсудь. — И нянька быстро зашлепала въ кухню и черезъ минуту принесла мнв паччу десятирублевыхъ. Я зналъ, что деньги эти она сберегла долгольтнимъ трудомъ, что копила она ихъ, чтобы внести въ богадъльню, чтобы на старости, когда работать не будеть ужъ силъ, имъть свой уголъ. — и все-таки взялъ ихъ. А подавая мнъ эти деньги, нянька все шмыгала носомъ, и моргала глазами, и стыдилась показать свои счастливыя, свътлыя, жертвенныя слезы любви.

Дня два спустя случилось такъ, что провзжая съ Соней внизъ по бульварамъ, — мы вхали за городъ, — Сонв понадобилось позвонить по телефону домой. Остановивъ лихача, — это было на площади вблизи нашего дома, — Соня попросила подождать ее на улицъ. Сойдя съ пролетки, прохаживаясь въ ожиданіи Сони, я дошелъ было до угла, когда вдругъ кто-то дотронулся до моей руки. Я оглянулся. Это была мать. Она была безъ шляпы, съденькіе волосики ея распушились, на ней была ватная нянькина кофта и въ рукъ она держала веревочную сумку для провизіи. Она просительно и пугливо погладила мое плечо. — Я, мальчикъ, раздобыла немножко денегъ, если

хочешь я. — Идите, идите, — прерваль я ее въ ужасной тревогь, что сейчасъ выйдетъ. Соня и увидитъ и догадается, что эта ужасная старуха — моя матъ. — Идите-же, говорю я вамъ, чтобъ вашего духу эдъсь не было, — повторялъ я, не имъя возможности эдъсь на улицъ прогнать ее силой голоса и потому называя ее на «вы». И когда, вернувшись къ лихачу, я подсаживалъ тутъ же вышедшую Соню, то взглянувъ въ ея синіе глаза, косо жмурившіеся отъ солнца, бившаго въ лакированныя крылья экипажа, — я уже испытывалъ такое счастье, что безъ содроганія посмотръль на съдую голову, на ватную кофту и на опухшія ноги въ стоптанныхъ башмакахъ, которыя трудно шагали по ту сторону мостовой.

На слъдующее утро, проходя по корридору къ умывальнику, я столкнулся съ матерью Жалъя ее и не зная, что мнъ скаазть ей о вчерашнемъ, я остановился и погладилъ рукой ея дряблую щеку. Противъ моего ожиданія мать мнъ не улыбнулась и не обрадовалась, лицо ея вдругъ жалко сморщилось и по щекамъ ея сразу полилось ужасно много слезъ, которыя (какъ мнъ почему-то показалось), должны быть горячими, какъ кипятокъ. Кажется, она силилась что-то сказать, и можетъ быть даже сказала бы, но я уже счелъ, что все улажено, я боялся опоздать и быстро пошелъ дальше.

Таковы были мои отношенія къ людямъ, такова была рта раздвоенность, — съ одной стороны влюбленное желаніе обнять весь міръ, осчастливить людей и любить ихъ, — съ другой безсовъстная трата трудовыхъ грошей стараго человъка и безмърная жестокость къ матери. И особенно страннымъ здъсь было то, что и безсовъстность эта и жестокость нисколько не противоръчили этимъ моимъ влюбленнымъ позывамъ обнимать и любить весь живой міръ — какъ будто усиленіе во мнъ, столь необычныхъ для меня, добрыхъ чувствъ — въ то же время помогало совершать мнъ жестокости, къ которымъ (отсутствуй во мнъ эти добрыя чувства) — я не счелъ бы себя способнымъ.

Но изъ всъхъ этихъ многихъ раздвоеній — наиболъе четко очерченнымъ и остро ощутимымъ — было во мнъ раздвоеніе духовнаго и чувственнаго началъ.

6.

Какъ то, — уже поздно ночью, проводивъ Соню, возвращаясь домой по бульварамъ и переходя ярко освъщенную и потому еще болъе пустынную площадь, — я обогнулъ сидъвшихъ на внышней скамъ трамвайнаго вокзальчика проститутокъ. Какъ всегда, — отъ ихъ предложеній и заигрываній, которыми они меня позвали, пока я проходилъ мимо, — я почувствовалъ оскорбленное самолюбіе самца, въ которомъ однимъ этимъ заигрываніемъ какъ бы отрицалась возможность получить безплатно у другихъ женщинъ то самое, что они мнъ предлагали пріобръсти за деньги.

Несмотря на то, что проститутки съ Тверской были по внѣшности подчасъ много привлекательнѣе тѣхъ женщинъ, за которыми я ходилъ и которыхъ находилъ на бульварахъ, — несмотря на то, что пойти съ проституткой обошлось бы денежно никакъ не дороже, — что опасность заболѣванія была равно велика, и что, наконецъ, взявъ проститутку, я избавлялся отъ многочасового хожденія, поисковъ и оскорбительныхъ отказовъ, — несмотря на все это, — я никогда не ходилъ къ проституткамъ.

Я не ходиль къ проституткамъ по причинъ того, что мнъ хотълось не столько узаконеннаго словесной сдълкой прелюбодъянія, сколько тайной и порочной борьбы, съ ея достиженіями, съ ея побъдой, гдъ побъдителемъ, какъ мнъ казалось, было мое я, мое тъло, глаза, которые были моими и могли быть только у меня одного, — а не тъ нъсколько рублей, которые могли быть у многихъ. Я не ходилъ къ проституткамъ еще оттого, что проститутка, взявъ деньги впередъ, — отдавала мнъ себя, выполняя при этомъ нъкое обязательство, — она дълала это принудительно, — даже можетъ быть, (такъ воображалъ я себъ), сжавъ при

этомъ зубы отъ нетерпънія, желая только одного, чтобы я поскоръе сдълалъ свое дъло и ушелъ и что въ силу этого враждебнаго ея нетерпънія — со мной въ постели лежалъ не распаленный соучастникъ, а скучающій созерцатель. Моя чувственность была какъ бы повтореніемъ тъхъ чувствъ, которыя по отношенію ко мнъ испытывала женщина.

Я не успълъ пройти и половины короткаго бульвара, когда заслышалъ, какъ кто то поспъшными мелкими шажками и тяжело дыша настигаетъ меня. — Ухъ, насилу догнала, — сказалъ съ противной профессіональной игривовостью голось. Я оглянулся, увидьль желтый свыть, проникавшій съ площади сюда въ пещеру бульвара, и въ немъ бъгомъ шагающую на меня женщину. Я посторонился, но она круто повернула на меня, столкнулась со мною и обняла меня. И сразу ея тъсно прилипшее ко мнъ и шибко гръющее тъло затолкало меня въ нижнюю часть живота, ея губы придвинулись, прижались, раскрылись и выпустли мнъ въ ротъ мокрый, холодный и дергающійся языкъ. Испытывая то приличествующее такому моменту чувство, когда кажется, что вся земля обвалилась и остался только тотъ кусочекъ, на которомъ стоишь, - я, въроятно, чтобы не сверзиться внизъ, чтобы держаться, тоже ее обнялъ. А дальше все было ужасно просто.

Сперва извозщичья пролетка, которая тряслась и будто не двигалась, потому что невольно мнв видвлся кусочекь зввзднаго неба, пока въ блаженной жестокости я рвалъ ея губы. Потомъ ворота, и въ сторонв, на кончикв воткнутой въ домъ кочерги подввшенный золотой сапогъ, — а сами ворота деревянные и сплошные, въ которыхъ дверца открывалась, какъ въ часахъ съ кукушкой. Потомъ корридоръ, отбитая штукатурка съ обнажившимися деревянными сплетеніями, и клеенчатая дверь съ ободками пыли во впадинахъ, туго вбитыхъ въ клеенку гвоздей. Потомъ стоячая духота каморки, керосиновая лампа и надъ нею, на черномъ потолкв, яркое свътовое пятнышко, какъ отъ солнца сквозь увеличительное стекло. И одвяло изъ цвътныхъ

лоскутковъ, сырое и тяжелое, словно съ пескомъ, и вяло сваливающаяся на бокъ женская грудь, съ расплывшимся каштановымъ соскомъ и бълыми вокругъ пупырышками. И, наконецъ, остановка и точка всему, и увъренность, — (въ который разъ и каждый разъ по новому), — что распаляющія чувственность женскія тълесныя прелести — это только кухонные запахи: дразнятъ, когда голоденъ, — отвращаютъ, когда сытъ.

Когда я вышелъ, было уже утро. Труба съ сосъдняго дома выпускала прозрачный жаръ, въ которомъ, трясса кусочекъ неба. На улицахъ было пусто, свътло и безсолнечно. Трамваевъ не было слышно. Только бульварный сторожъ въ гимназическомъ поясъ при съдой бородъ и въ фуражкъ съ зеленымъ околышемъ подметалъ бульваръ. Поднимая тяжелое и тутъ же падающее облако песочной пыли, онъ медленно наступалъ на меня, — похожій на циркуль, въ которомъ самъ онъ былъ укръпленной стороной, а метла на длиннъйшей палкъ — другой, водящей полукруги промежъ газонами. На пескъ, отъ жесткихъ прутьевъ его метлы, оставался безконечный рядъ царапинъ.

Я шелъ и чувствовалъ себя такъ изумительно хорошо, такъ чисто, точно внутри у меня вымыли. На монастырской розовой башнъ золотыя спицы на скучномъ черномъ цыферблатъ показывали безъ одной минуты четверть шестого. Когда, перейдя площадь, я вошелъ въ сырую тънь бульвара, то съ другой стороны башни на такомъ же черномъ цыферблатъ, такія же золотыя спицы показывали ровно четверть. И тотчасъ раздались тоненькіе звуки и такіе разрозненные, словно курица гуляла по арфъ.

Черезъ семь часовъ я должнъ былъ уже встрътиться съ Соней, и радость и нетерпъніе снова увидъть ее я вдругъ почувствовалъ съ такой свъжей, отдохнувшей силой, что зналъ, что заснуть уже не смогу. — Это измъна, — говорилъ я себъ, вспоминая ночь, но какъ чистосердечно и настойчиво ни пытался я прицъпить это коварное слово хотя къ какому-нибудь изъ испытываемыхъ мною чувствъ, —

какъ его самъ себъ ни навязывалъ, - оно ръшительно не удерживалось, отклеивалось, соскальзывало, отпадало отъ меня. Но если не измъна — то что же это. Въдь если содъянное мною не измъна, то это значитъ, что духовное мое начало нисколько не отвътствено за мое чувственное, что чувственность моя, какъ бы грязна она ни была, не можетъ запачкать духовнаго, что чувственность моя открыта всъмъ женщинамъ, духовность же только одной Сонъ, и что чувственность во мнв какъ-то отделена отъ духовности. Я не столько зналъ, сколь чувствовалъ, что во всемъ этомъ есть какая-то правда, -- но уже что то тяжелое сдвинулось во мнъ, и я не смогъ отвернуться отъ возникшаго во мнъ образа, въ которомъ Соня, поставленная на мое мъсто, совершаетъ нъчто подобное, и что съ ней случается то самое, что случилось нынче ночью со мной. Конечно, я и чувствовалъ и зналъ, что это совершенно невозможно, что ничего похожаго съ Соней случиться не могло и не можетъ, вотъ именно это-то сознаніе невозможности происшествія съ Соней — съ очевидной ясностью говорило за то, что у ней-то, у женщины, чувственность можетъ и даже должна запачкать духовность, и что ея женская духовность отвъчаетъ въ полной мъръ за проступокъ ея чувственности. Выходило такъ, что въ ней, въ Сонъ, въ женщинъ — духовность и чувственность слиты воедино, и что признать ихъ отдъленными другь отъ друга, раздвоенными, взаимно неотвътственными и расколотыми, какъ у меня. — это значило расколоть себъ жизнь.

И я представилъ себъ, конечно, не Соню, а другую дъвушку или женщину примърно изъ такой же, какъ и я, семьи, и такъ же, какъ и я, въ кого-нибудь влюбленную съ чрезвычайной, съ исключительной жаркостью. Вотъ она одна возвращается домой, вотъ въ темнотъ бульварной ее догоняетъ какой-нибудь хлышъ, она не знаетъ его, она даже не можтъ хорошенько разсмотръть его, молодъ-ли, уродливъ или старъ онъ, но вотъ онъ хватаетъ ее, онъ гад-ко тискаетъ и скверно цълуетъ — и она уже готова, она согласна на все, она ъдетъ къ нему, и главное, уходя поут-

ру, даже не взглянувъ на того, съ къмъ проспала эту ночь, — выходитъ, и, возвращаясь домой, не только не чувствуетъ себя загрязненной, а съ чистенькой радостью ждетъ свиданія съ человъкомъ, въ котораго влюблена. Къ такой женщинъ какъ-то само себой подкрадывается страшное слово: проститутка. И получалось странное. Получалось, что если мужчина дълаетъ то, что онъ дълаетъ, — такъ онъ мужчина. А если женщина дълаетъ то, что мужчина, — такъ она проститутка. И выходило еще, что раздвоеніе духовности и чувственности въ мужчинъ — есть признакъ мужественности, — а раздвоеніе духовности и чувственности въ женщинъ есть признакъ проституціонности.

Я началъ сличать этотъ неожиданный для меня выводъ. Вотъ я, Вадимъ Масленниковъ, будущій юристъ, будущій, какъ это утверждаеть окружающій меня міръ, полезный и уважаемый членъ общества. А между тъмъ. гдь бы я ни быль, въ трамвав-ли, въ кафэ, въ театрь, въ ресторанъ, на улицъ - словомъ, всюду, всюду, - достаточно посмотръть миъ на фигуру женщины, достаточно даже не видя ея лица, прельститься выпуклостью или кудобой ея бедръ, — и, свершись все по моему желанію, я бы, не сказавъ этой женщинъ и двухъ словъ, уже потащилъ бы ее на постель, на скамейку, а то и въ подворотню. И я бы несомивнио такъ бы и поступалъ, если бы женщины позволяли мнъ этакое продълывать. Но въдь это раздвоеніе во мнъ духовнаго и чувственнаго начала, въ силу котораго во мив не встрвчается нравственныхъ препятствій къ осуществленію такихъ позывовъ, — въдь это то раздвоение и было же главной причиной того, почему мои товарищи признавали меня и молодчиной и ухаремъ. Въдь если бы во мнъ было полное сліяніе духовнаго и чувственнаго, то я бы въдь смертно влюблялся ръшительно въ каждую женщину, которая чувственно прельщала бы меня, и тогда мои товарищи, безпрестанно смеясь надо мною, дразнили бы меня бабой, дъвченкой или еще какимъ-нибудь другимъ словомъ, но обязательно такимъ, въ которомъ было бы ярко выражено ихъ мальчищеское презръніе къ проявляемому мною женственному началу. Значить во мнв, въ мужчинв, это мое раздвоеніе духовности и чувственности воспринималось окружающими, какъ признакъ мужественности, молодечества.

Ну а вотъ если бы я, съ этимъ моимъ раздвоеніемъ духовности и чувственности, быль бы не гимназистомъ, а гимназисткой, дъвушкой. Если бы я, будучи дъвушкой. точно такъ же въ кафэ-ли, въ трамвав, въ улиць, словомъ, всюду-всюду, увидавъ мужчину, подчасъ не разглядъвъ даже его лица, просто разволновавшись отъ мускуловъ его бедеръ (а въ силу раздвоенія во мнв духовности и чувственности, не испытывая въ себъ препятствій къ осуществленію этихъ моихъ позывовъ), тутъ же, безсловесно и съ веселостью побуждала и разръшала бы тащить себя на постель, на скамейку, а то и въ подворотню, — какое впечатлъніе произвело бы такое мое дъйствіе на моихъ подругъ, на окружающихъ, или даже на мужчинъ, которые имъли со мной дъло. Были бы эти мои поступки толкуемы и воспринимаемы, какъ проявление мною молодечества, ухарства, мужественности? Даже смъшно подумать. Въдь даже сомнъній не можетъ возникнуть, что я тутъ же и ръшиельно всъми была бы общественно заклеймлена, какъ проститутка, да къ тому же еще не какъ проститутка въ смыслъ жертвы среды или матеріальныхъ страданій (такую въдь можно и оправдать), — а какъ проститутка вследствіе внешней проявляемости внутреннихъ наитій, иначе говоря такая, которой уже нътъ и не можетъ быть оправданій. Значитъ и върно и справдливо то, что раздвоеніе духовности и чувственности въ мужчинъ есть признакъ его мужественности, — а раздвоение духовности и чувственности въ женщинъ есть признакъ ея проституціонности. И значить, достаточно всемь женщинамь дружно пойти по пути омужествленія — и міръ, весь міръ превратится въ публичный домъ.

7.

Для влюбленнаго мужчины всв женщины - это толь-

ко женщины, за исключеніемъ той, въ которую онъ влюблень: она для него человъкъ. Для влюбленной женщины всъ мужчины — это только человъки, за исключеніемъ того, въ котораго она влюблена: онъ для нея мужчина. Такова была та невеселая правда, въ которой я все больше и больше увърялся, по мъръ длительности моихъ отношеній съ Соней.

Однако, ни въ этотъ день, ни въ послъдующія затъмъ встръчи съ Соней — я не разсказалъ ей объ этихъ моихъ мысляхъ.

Если людямъ, съ которыми я сталкивался до знакомства съ Соней, я не могъ правдиво передать истинность моихъ переживаній, дабы не разрушить тымъ самымъ того налета молодечества, который мны во что бы то ни стало котылось передъ этими людьми изображать, — то съ Соней я не могъ быть искрененъ, не покалычивъ облика того мечтательнаго мальчика, котораго она желала во мны видыть.

Разсказывать съ полной правдой свои чувства товарищамъ, предъ которыми я обязательно желалъ казаться молодчиной — было невозможно. Я понималъ, что молодечество воспринимается, какъ таковое, лишь тогда, когда является результатомъ весело поверхностнаго міроощущенія. Стоило мнъ поэтому изобразить свои переживанія чуть болье вдумчиво-глубокими, и тотчасъ всъ мои поступки, которыми я хвастался, становились гадостными, жестокими, ничьмъ уже неоправдываемыми.

Соня была первымъ человъкомъ, передъ которымъ мнъ уже не нужно было утруждать себя этой противно-веселой, бодрой наигранностью. Для нея я былъ просто мечтательнымъ и нъжнымъ мальчикомъ. Но именно это обстоятельство, которое на первый взглядъ столь располагало къ откровенности — заставило меня испуганно спохватиться, при первой же попыткъ разсказывать Сонъ про свою жизнь. При первомъ же позывъ на откровенность съ Соней я почувствовалъ, что не долженъ, не имъю права, не могу быть откровененъ. Съ одной стороны, я не могъ быть

откровененъ съ Соней потому, что невозможно же было мив, мечтательному мальчику, разсказывать о зараженной мною Зиночкъ, о моихъ отношеніяхъ съ матерью, о томъ, какъ я прогналъ мать изъ боязни, что Соня ее увидитъ, или, наконецъ, о томъ, что деньги, которыя я плачу за лихачей или за мороженое, которое встъ Соня. — принадлежатъ моей старой нянькв. Съ другой стороны, я не могь быть откровененъ съ Соней, ибо даже попытки разсказывать ей хотя бы только о такихъ моихъ поступкахъ, которые выкавывали бы меня единственно съ доброй, съ благородной стороны — тоже никакъ не клеились: прежде всго добрыхъ двяній въ моей жизни вовсе не было, — далве (на случай, если бы я такія добрыя мои дівнія просто бы выдумаль), разсказывать о нихъ не доставило бы мнв рышительно никакого удовольствія, — и, наконецъ, и это главное, — такіе разсказы о монхъ добрыхъ двлахъ (хоть это и очень странно, но я такъ чувствовалъ) нисколько не послужили бы тому духовному сближенію съ Соней, которое въдь и было основной причиной, побуждавшей меня къ откровенности. Все это мучило меня не столько потому, что я какъ бы обрекался на духовное одиночество, къ которому я слишкомъ привыкъ, чтобы имъ тяготиться, — сколько той крайней бъдностью разговорной темы, которая могла бы способствовать нашему сближенію и росту чувствъ. Я понималь, что влюбленность — это такое чувство, которое должно все время расти, все время двигаться, что для своего движенія оно должно получать толчки дътскому обручу, который, какъ только теряетъ силу движенія и пріостанавливается, такъ тотчасъ и падаетъ. Я понималь, что счастливы тв влюбленные, которые, въ силу враждебныхъ имъ людей или неудачливыхъ событій, лишаются возможности часто и подолгу встръчаться. Я завидовалъ имъ, ибо понималъ, что влюбленность ихъ растеть за счеть техь препятствій, которыя возникають между ними. Встръчаясь съ Соней ежедневно, оставаясь съ нею безпрерывно много часовъ, я, какъ только умълъ, старался развлекать ее, но слова, которыя я говорилъ ей, ни-

сколько не способствовали ни росту нашихъ чувствъ, ни духовному межъ нами сближенію: мои слова заполняли время, но не использовывали его. Получались пустыя, незаполненныя минуты, которыя особенно тяжело нависали надъ нами, когда мы садились на скамейку, оставаясь совершенно одни, и невольно побуждаемый страхомъ, что Соня замътитъ или почувствуетъ тоскливыя мои потуги, — я заполнялъ поцълуями эти все чаще и чаще случавшіеся пропуски недостающихъ мнв словъ. Такъ случилось, что поцълуи замъстили слова, перенявъ на себя ихъ роль нашего сближенія, и совершенно такъ же, какъ слова, по мъръ сближающаго знакомства, становились все откровеннве и откровеннве. Цвлуя Соню, я отъ одного сознанія, что она любитъ меня, испытывалъ слишкомъ нъжное обожаніе, слишкомъ глубокую душевную растроганность, чтобы испытывать чувственность. Я не испытываль чувственности, будучи какъ то не въ силахъ прободать ея звъриной жестокостью всю эту нъжность, жалостливость, человъчность моихъ чувствъ. — и невольно во мнъ возникало сравнение моихъ прежнихъ отношений съ женщинами съ бульваровъ и теперь съ Соней, гдъ раньще я, испытывая только чувственность, въ угоду женщинь изображаль влюбленность, а теперь, испытывая только влюбленность, въ угоду Сонъ изображалъ чувственность. Но, когда, наконецъ, и поцълуи наши, исчерпавъ возможность доступнаго имъ сближенія, вплотную подвели меня къ той запретной и последней черте телеснаго сближенія, преступить которую, - какъ мив тогда казалось, - предвъщало наивысшую, доступную человъку на земль, духовную близость, — тогда, ръшившись, я попросиль Яга педоставить мнъ на нъсколько часовъ его комнату, чтобы встрътиться и побыть тамъ съ Соней. Въ эту ночь, послъ проводивъ Соню, я уже у самыхъ воротъ разсказалъ о томъ, что завтра мы будемъ у Яга и потомъ останемся одни, что въ этомъ ничего «такого» нътъ, что Ягъ душевнъйшій малый и что онъ мнъ лучшій и преданный другъ, — въ эту ночь, когда Соня въ отвътъ на мои завъренія только промолвила свое о-о, и сдівлала лисью мордочку и китайскія глаза, — въ эту ночь, возвращаясь домой, я радовался не тівмъ тівлеснымъ радостямъ, которыя меня на слівдующій день ожидаютъ, а тому окончательному духовному владычеству надъ Соней, которое будеть слівдствіемъ этого тівлеснаго сближенія.

8.

По очень широкой, полукругомъ поднимавшейся лѣстницѣ, бѣлой и свѣтлой, надъ которой вмѣсто крыши было оранжерейное стекло, и по которой мы поднимались съ совѣстившей меня молчаливой дѣловитостью. — Ягъ, черезъ гулкую залу, гдѣ кресла, рояль и люстра были въбѣлыхъ чехлахъ, провелъ насъ въ свою комнату. На дворѣ еще было свѣтло, но въ Ягиной комнатѣ, расположенной бокомъ къ заходящему солнцу, уже сумеречничало въраскрытую балконную дверь видны были пузатые столбики балконной ограды, очерченные абрикосовыми отсвѣтами.

— Нътъ, — сказала Соня, когда Ягъ, забъжавъ за кресло изъ малиноваго, черно потертаго на сгибахъ бархата, съ такой ръшительностью схватился за спинку, словно готовился изо всей силы вкатить его подъ Соню; — нътъ, — сказала Соня, — давайте тамъ, тамъ чудесно. И она кивнула въ сторону балкона. — Въдь можно, да, — спросила она, когда Ягъ, тутъ же поднявъ круглый столикъ, подъкружевной скатертью съ печеньями, съ зеленымъ въ хрустальномъ графинчикъ ликеромъ и съ красными, похожими на опрокинутыя турецкія фески, стаканчиками, — уже тащилъ его къ балкону. — Помилуйте, Софъя Петровна, — поворотился къ ней вмъстъ со столикомъ Ягъ и даже поставилъ его, чтобы развести руками.

На балконъ отъ заходящаго, выпуклаго какъ желтокъ сырого яйца, солнца, хоть и зацъпившаго за крышу, однако, видимаго цъликомъ, словно оно прожигало эту крышу насквозь, — лица стали махрово красными.

— Разръшите вамъ нацъдить, Софья Петровна, лимерчикъ на ять-съ, — говорилъ Ягъ, усадивъ меня и Соню, наполняя красные стаканчики, поддерживая себя другой рукой подъ локоть и здорово громыхая выпуклой жестью. которой былъ крытъ балконый полъ. — Я въдь, можно сказать, и не зналъ, что вы съ Вадимомъ встръчаетесь и видно даже друзья. Прошу покорно откушать. — И получивъ въ отвътъ Сонинъ благодарный кивокъ, онъ сълъ на кончикъ стула, поставивъ графинъ себъ на кольно и держа его за горлышко — совсъмъ какъ отдыхающій скрипачъ.

Соня съ краснымъ стаканчикомъ у краснаго лица — опущенными глазами улыбалась такъ, словно подбадривала: — ну-ка, ну-ка, еще скажи что нибудь.

- Въдь вы, Софья Петровна, глядя на ея улыбку, продолжалъ Ягъ, насъ въ ту ночку, деликатно-то выра жаясь, въ три шеи выставили, да кстати сказать подъломъ. Но... я бы и кланяться-то вамъ не посмълъ бы. А тутъ вдругъ такое дъло.
- Какое дело, спросила Соня и улыбнулась въ стаканчикъ.
- Ну, это самое, и Ягъ сдълалъ рукой такое движеніе, словно что-то подбрасывалъ на ладони и пытался опредълить въсъ. Словомъ, не знаю какъ Вадимъ это сладилъ. Протелефонилъ-ли вамъ, письмо ли написалъ, но я бы послъ этакой ночки не ръшился.

Соня со стаканчикомъ у губъ, еще глотая, сдѣлала протестующее ммм, словно поперхнувшись, взмахнула рукой и, не отрываясь отъ стаканчика, наклонилась вмѣстѣ съ нимъ къ столу, чтобы, не капнувъ, отставить.

- Но ничего похожаго, сказала она еще съ мокрыми губами и смъясь. Съ чего вы это взяли? Просто я сама на слъдующее же утро послала ему записку и цвъты. Вотъ и все.
 - Цвъты? спросилъ Ягъ.
 - Ага, кивнула Соня.
- Ему-съ? спросилъ Ягъ, выпроставъ изъ кулака большой палецъ и туго выгибая его въ мою сторону.

— Ему-съ? — передразнила Соня и уже смотрвла мимо Яга и прямо мнв въ глаза. Ея пронзительный взглядъ на улыбающемся лицв (такъ смотрятъ, когда въ шутку пугаютъ двтей), будто говорилъ мнв: — это любовь заставила меня тогда сдвлать то, о чемъ я теперь разсказала; это любовь заставляетъ меня теперь разсказывать о томъ, что я тогда сдвлала.

Нъкоторое время Ягь молчаль, поперемънно взглядывая то на меня (я отвъчаль ему счастливой и глупой улыбкой), то на Соню. Но постепенно водянистые глаза его — сперва расширенные отъ Сонинаго признанія, затъмъ отсутствующіе отъ внутренней работы, стали хитренькими.

- Позвольте, однако, Софья Петровна, сказаль онъ и, взявь стаканчикъ и глотнувъ ликеру, сдълалъ челюстями полоскательное движеніе, словно это зубной элексиръ, который онъ вотъ-вотъ выплюнетъ. Позволь те. Вы изволили сказать, цвъты тамъ, записку, ну и прочее. Ну, а адресокъ то, а адресокъ то какъ же. Или можетъ онъ вамъ и раньше былъ извъстенъ. Нътъ? преспросилъ онъ, съ вопрошающей неувъренностью переводя на слова Сонину улыбку. Но въ такомъ случав какъ же, какъ же?
- Но очень же просто, сказала Соня, вотъ слушайте. Я не знала ни о васъ, ни о Вадимъ ръшительно ничего, ну ни полсловечка. И вотъ какъ я все это вывъдала. На слъдующее же утро, раненько, я вызвала къ себъ Нелли и сдълала ей выговоръ съ предупрежденімъ, что если подобное безобразіе еще разъ, еще только единственный разъ повторится, то я ихъ тутъ же выгоню. Какъ же это можно, ну какъ это мыслимо, приводить съ собой и когда ночью, и куда въ мою квартиру, и кого чужихъ мужчинъ. А? Какъ вамъ это нравится. Нътъ, вы скажите, какъ вамъ это нравится? А кто мнъ поручится, что это не грабители. Да что я такое говорю; даже навърно это были грабители. Но почему вы такъ думаете? Развъ вы ихъ знаете? И что же вы о нихъ такое энаете?
 - Однако, позвольте, Софья Петровна, перебилъ

Ягъ, — въдь эта самая Настюх.... э Нелли... не знала ни фамилій, ни адресовъ:

Правда. — подтвердила Соня. — этого она не знала. Но зато она знала, что одного изъ васъ, того, который быль въ студенческомъ китель, зовутъ Вадимомъ, а того, который быль въ штатскомъ. — Ягъ. Мало того. — прошлой зимой, когда она служила у Мюра, она частенько видъла васъ обоихъ, при чемъ обя вы тогда ходили въ какой-то. какъ она выразилась, странной формь: совсьмъ похоже на студенческую, только пуговицы были не золотыя, а серебряныя и безъ орловъ. Больше о васъ Нелли не знала ничего, но для меня и этого было достаточно. Во-первыхъ, я уже знала, что того, кто меня интересуеть, — зовуть Вадимомъ. Во вторыхъ, форма гимназіи, столь похожая на студенческую съ указанными отличіями пуговицъ. — мнв извъстна: въ этой гимназіи учится сынишка моей кузины. Въ третьихъ мив было ясно, что если прошлой зимой человъкъ ходилъ еще въ гимназической формъ, а теперь, лътомъ носить студенческій китель, то очевидно, что этой весной онъ окончилъ гимназію. По телефонной книжкъ я разыскала адресъ гимназіи и повхала туда. Кромв швейдара, никого не было и онъ, послъ краткаго выясненія нашихъ съ нимъ отношеній, досталъ миъ списокъ учениковъ, окончившихъ гимназію этой весной. Мнв повезло: среди окончившихъ восемнадцати человъкъ былъ только одинъ по имени Вадимъ. Такъ я узнала фамилію, а швейцаръ туть же раздобыль мив и адресь.

— Ззядорово, — восхищенно воскликнуль Ягь и отчаянно закрутиль головой. Но уже какъ бы освобождая его отъ необходимости какихъ бы то ни было похвалъ, Соня, приложивъ кисть руки къ уху, послушала и потомъ взглянула на свои браслетные часики. И воспользовавшись тъмъ, что она была отвлечена, Ягъ тревожно просигнализировалъ мнъ глазами: — сейчасъ, молъ, ухожу.

Уже совсъмъ свечеръло и стало вътренно, когда ушелъ Ягъ. Изъ-за угла дугой взвилась пыль и когда, налетъвъ короткимъ ураганчикомъ, завернула скатерть, гримасой

сомкнула глаза и прошла мимо и сгинула, то на зубахъ хрустьло какъ сахаръ, и сверху, будто съ крыши, порхая бабочкой банановаго цвъта, — осенній листь въ затихшемъ воздухъ все падалъ, падалъ и подъ конецъ, уже надъ самымъ столомъ, медленно кувыркаясь, залетълъ въ красный стаканчикъ, изобразивъ гусиное перо въ песочницъ. И миъ вдругъ стало жаль, что ушелъ Ягъ, будто отсюда, съ балкона, вынесли столь пріятное мнв чужое удивленіе моему счастью, словно счастье мое — это новый костюмъ, который теряетъ часть своихъ радостей, когда его нельзя носить на людяхъ. Соня поднялась, прошла балконъ и съла рядомъ. — У-у, какой бука. — сказала она и сдълала мордоч ку шаловливо-нахмуренной: нахмуренность изображала меня, а шаловливость — ея отношение къ моей нахмурености. И боязливо, совствить какъ ребенокъ дразнитъ собаку, она, напряженно вытянувъ указательный пальчикъ, начала сверху внизъ бороздить по моимт. губамъ, которыя стали издавать такіе звонкіе веселые щелчки, что тотчась я н расхохотался. — Вотъ по этому самому, — сказала Соня, — по тому, разсмъещься ли ты, или озлобленно оттолкнешь мою руку, я въ будущемъ всегда узнаю твои чувства. — Впрочемъ, — добавила она, помолчавъ, — ты видишь, какія мы женщины глупыя: тотъ эффектъ, который мы производимъ, высказавъ вслухъ нашу наблюдательность, дороже намъ той пользы, которую мы могли бы изъ этой наблюдательности извлечь, если бы о ней умолчали.

Между тъмъ быстро темнъло и отъ кръпчавшаго вътра становилось безпокойно. Только еще тамъ, надъ черной крышей дома, куда упало солнце, виднълась узкая мандариновая полоса. Но уже чуть выше было мрачно, — точно вливаемыя въ воду струи чернилъ, катились облака вътренно и такъ быстро, что, когда я задиралъ голову вверхъ — балконъ вмъстъ съ домомъ начинали безшумно ъхать впередъ, грозя передавить весь городъ. За угломъ листья деревьевъ шумъли моремъ, потомъ въ высшемъ напряженіи этого мокраго шума что-то, видимо въ сучьяхъ, остро надломило, и тутъ же, гдъ-то совсъмъ рядомъ, съ

ломкимъ стукомъ захлопнуло окно, а въ возникшей на мгновеніе падающей тишинъ — выброшенное оконное стекло со звономъ разорвало о мостовую.

— Фу, — сказала Соня, — эдъсь гадко. Пойдемъ. Послъ балкона въ Ягиной комнатъ было тихо и душно, будто натоплено. Сквозь закрытыя двери балкона изъ темноты — бълая скатерть металась, какъ на вокзалъ прошальный платокъ. Держа Соню подъ-руку и производя сухой свистящій шорохъ, я началь было обглаживать ладонью обои, чтобы разыскать штепсель, — но Сонина рука мягко сдержала меня. Тогда, обхвативъ Соню, прижимая ее къ себъ и подвигаясь въ направленіи слабо бълъвшей въ темноть, словно расплющенной, колонны, за которой, мнъ помнилось, стояла кушетка, — я, неуклюже наступая на кончики Сониныхъ туфель, медленно повелъ ее спиной впередъ.

Но подвигаясь въ темнотъ и прижимая къ себъ Соню, я, какъ ни старался возбудиться мужскимъ и животнымъ ожесточеніемъ, столь необходмымъ мнв вотъ сейчасъ, вотъ сію минуту, — уже въ отчаяніи и съ ужасающей ясностью предчувствоваль свой позорь, потому что даже теперь, здесь, въ Ягиной комнать, въ эти решительныя минуты, Сонины поцълуи и Сонина близость дълали меня слишкомъ растроганнымъ, слишкомъ чувствительнымъ, чтобы стать чувственнымъ. Что жъ дълать, что же миъ дълать, что же мив дълать, — въ отчанийи думаль я, — сознавая, что Соня это женщина, которую надо брать стихійно и сразу, и что дълать это нужно именно такъ не потому что Соня окажетъ сопротивленіе, — потому что осмълься я возбуждать мою одряхлъвшую въ эти минуты чувственность при номощи длительнаго процесса грязныхъ прикосновеній — я тымь самымь, спасая самолюбіе моей мужественности, — уже навсегда и непоправимо разрушу красоту нашихъ отношеній. Между тымь мы уже были у самой колонны. Такъ что же дълать, что же мнъ дълать, - повторяль я, въ отчаяніи думая о томь, что сейчась будеть такой срамь, такой срамь, посль котораго нельзя уже

жить, — въ отчании еще сознавая, что именно это-то предчувствие срама — лишетъ меня уже послъдней возможности возбудить въ себъ то звъриное, которое смогло бы этотъ срамъ предотвратить. И только въ послъднюю секунду, когда какъ въ черную пропасть, мы рухнули на вульгарно грохнувшую всъми пружинами кушетку, — мнъ придумался выходъ, и я, какъ это видълъ въ театръ, вдругъ отчетливо захрипълъ, и, стараясь разорвать на себъ тугой и суконный воротникъ, простоналъ. — Соня. Мнъ худо. Воды.

10.

Москва, 1916 года, сентября.

Мой милый и дорогой мой Вадимъ!

Мнф тяжело, мнф горько подумать, и все же я знаю, что это мое послфднее письмо къ тебф. Ты вфдь знаешь, что съ того самаго вечера (ты знаешь, какой я думаю) между нами установились очень тяжелыя отношенія. Такія отношенія, разъ начавшись, уже никогда не могутъ вернуться и стать прежними, и даже больше того: чфмъ дольше длятся такія отношенія, чфмъ настойчивфе и та и другая сторона пытаются ложью изображать прежнюю близость, тфмъ сильнфе чувствуется та ужасная враждебность, которая никогда не случается между чужими, а возникаетъ только между очень близкими другъ другу людьми. При такихъ отношеніяхъ достаточно, чтобы одинъ сказалъ бы другому правду, всю правду, понимаешь-ли полную правду, — и сейчасъ же эта правда обращается въ обвиненіе.

Сказать такую правду, высказать съ совершенной искренностью все свое отвращение къ этой любовной лжи, не значить ли это заставить того, кому сказана эта правда, — то-ли эту правду молчаливо признать, и тогда всему конецъ, — то-ли, изъ за боязни передъ этимъ концомъ, лгать вдвойнъ, и за себя и за того, кто сказалъ эту правду. И вотъ я пишу тебъ, чтобы сказать эту правду, и прошу умоляю тебя, мой дорогой, не лги, оставь это письмо безъ отвъта, будь правдивъ со мною хотя бы твоимъ молчаніемъ.

Прежде всего о твоемъ, такъ называемомъ, обморокъ, который ты тогда разыгралъ у Яга. (Тутъ мит приходитъ въ голову, что обморокъ имт что-то общее съ обморо чить). Въдь съ этого, собственно, началось, или, если хочешь еще точнте, — началось съ того, что я въ этотъ обморокъ не повърила. Съ первой же минуты я поняла, что обморокъ этотъ есть только выходъ изъ положенія, неблагопріятнаго для твоего самолюбія и оскорбительнаго для моей любви. Мимоходомъ замт ч, что въ такое опредтленіе вполнт вмт шается мое первое подозртніе о томъ, что можетъ быть ты боленъ, — предположеніе, которое я тутъ же, какъ совершенно негодное (не невозможное, а неправильное) отбросила.

Ты знаешь, — я ухаживала за тобою въ тотъ вечеръ, какъ умъла, я приносила тебъ то воду, то мокрое полотенце, я была нъжна съ тобою, но все это была уже ложь. Я уже думала о тебъ въ третьемъ лицъ, въ моихъ мысляхъ ты сталъ для меня «онъ», думая о тебъ, я уже не обращалась къ тебъ непосредственно, а будто говорила о тебъ съ къмъ-то другимъ, съ къмъ-то, который сталъ мнъ ближе, чъмъ ты, и этотъ «кто-то — былъ мой разумъ. Такъ я стала тебъ чужой. Но тогда, ночью, я лгала, я не сказала, не могла сказать тебъ правды, которую пишу теперь: я была оскорблена. Когда одинъ человъкъ оскорбляетъ другого, то оскорбленіе всегда бываеть двухь родовь: умышленное или невольное. Первое не страшно: на него отвъчають ссорой, ругательствомъ, ударомъ, выстръломъ, и, какъ бы это ни было грубо, это всегда помогаеть, и умышленно нанесенное тебъ оскорбление смывается легко, словно грязь въ банъ. Но зато ужасно оскорблніе, которое тебъ нанесли не намъренно, а невольно, совсъмъ не желая этого; ужасно именно потому, что, отвъчая на него ругательствомъ, ссорой, или даже просто выказывая его внышней обиженностью, ты не только не ослабляешь, а напротивъ уже сама себя оскорбляещь до невыносимости. Невольно нанесенное оскорбленіе тымъ-то особенно и отличается, что не только

нельзя на него отвъчать, а какъ разъ напротивъ, нужно изо всъхъ силъ показывать (а это охъ какъ тяжко), будто ничего не замъчаешь. И вотъ поэтому-то я тебъ въ тотъ вечеръ ничего не сказала и лгала.

. Тысячи разъ я себя спрашивала и не могла, нътъ, не хотъла найти отвъта. Тысячи разъ я задавала себъ вопросъ — что же произошло, — и тысячи разъ получала одинъ и тоть же отвъть: — онь не захотъль тебя. И я склонялась передъ правдивостью этого отвъта, передъ его единственностью, — и все же не понимала. Хорошо, — говорила я себъ, — онъ не захотълъ меня, — но въ такомъ случаъ зачъмъ же онъ все это дълалъ. Зачъмъ онъ устроилъ нашу встръчу у Яга, почему онъ и поступалъ и велъ себя такъ, что и поведеніемъ и поступками уже обязываль взять меня и все же не сдълалъ этого. Почему. Отвътъ былъ одинъ: очевидно, потому, что сознательная его воля желала меня, между тъмъ, какъ его тъло противно и наперекоръ воль, брезгливо отъ меня отвернулось. Думая объ этомъ, испытывала то самое, что долженъ испытывать прокаженный, котораго христіанскій брать целуеть въ уста, и который видить, какъ христіанскаго брата послъ этого подълуя тутъ же вытошнило. Въ твоихъ поступкахъ, Вадимъ, я чувствовала совершенно то же: съ одной стороны, было стремленіе твоей сознательной воли, которое тебя вполнъ оправдывало, — съ другой — брезгливое непослушаніе твоего твла, которое меня особенно оскорбляло. Не осуждай меня, Вадимъ, и пойми, что всякія разсудочныя соображенія, которыя побуждають телесно овладеть женщиной, глубоко оскорбительны для нея, независимо отъ того, диктуются ли они христіански жалостливыми, и значить высоко душевными, или же грязно денежными соображеніями. Да. Безразсудство, совершаемое разсудочно, — это низость.

Ты знаешь, что на слъдующій день должень быль пріъхать мой мужь. Ты знаешь также, въдь я говорила тебъ объ этомъ, что какіе бы ужасы меня ни ожидали, но честно и по хорошему я разскажу ему обо всемъ, что за это время произошло. Но я не сдълала этого. Послъ той ночи я не считала себя вправъ это сдълать. Даже больше того: я почувствовала къ пріъхавшему мужу какую-то новую, сближавшую меня съ нимъ, благодарную нъжность. Да, Вадимъ, это такъ, и ты это долженъ и можешь понять. Ибо сердцу прокаженной женщины милъе чувственный поцълуй негра, чъмъ христіанскій поцълуй миссіонера, преодольвающаго отвращеніе.

Ты знаешь, что было дальше. Ты пришель къ намъ, какъ гость, какъ чужой. Конечно, я понимала, что на саммъ дъль ты себя чужимъ вовсе не чувствуещь, а только чужимъ притворяешься, и что ты увъренъ, что миъ-то ты не только не чужой, а самый что ни на есть близкій. Я знала, что ты такъ думаешь, я знала такъ же, какъ ты глубоко ошибаешься, — и знаешь, Вадимушка, такъ миъ вдругъ стало жаль тебя, такъ жаль мнъ тебя стало за эту твою увъренность, и такъ больно мнъ за тебя было.

Мой мужъ, котораго я познакомила съ тобой, и которому ты, это было замътно, понравился, съ присущей ему безтактностью, взявъ меня подъ руку, повелъ тебя показывать нашу квартиру.

Ты долженъ знать, что мой мужъ не ревнивъ. Это отсуїствіе въ немъ чувства ревности объясняется избыткомъ самоувъренности и недостаткомъ воображенія. Однако, эти самыя чувства, которыя воздерживають его отъ ревности, побудили бы его къ чрезвычайной жестокости, узнай онъ о моей измънъ. Мой мужъ нисколько не сомнъвается въ томъ, что онъ и только онъ представляетъ собою ту точку. вокругъ которой происходитъ вращение всъхъ людей. Онъ нисколько не способенъ почувствовать, что точно такъ же думаетъ ръщительно всякое живое существо, и что съ точки эрвнія этого всякаго — онъ, мой мужъ, переставъ быть точкой, вокругъ которой происходитъ вращеніе, въ свою очередь начинаетъ вращаться. Мой мужъ никакъ не можетъ понять, что въ мір'в такихъ центральныхъ точекъ, вокругъ которыхъ вращается воспринимаемый и вивщаемый этими точками міръ, имвется ровно

столько, сколько живыхъ существъ населяють міръ. Мой мужъ признаетъ и понимаетъ человъческое я какъ центръ. какъ пупокъ міра, но возможность присутствія такого я онь полагаетъ только въ самомъ себъ. Всъ остальные такого я для него не имъютъ и имъть не могутъ. Всъ остальные для него это «ты» — «онъ» — вообще «они». Такимъ образомъ, называя это свое я высоко человъческимъ, мужъ мой нисколько не понимаетъ, что на самомъ дълъ это его я чи сто звъриное, что такое я допустимо развъ что у удава, пожирающаго кролика, или у кролика, пожираемаго удавомъ. Мой мужъ не понимаетъ, что разница между звъринымъ и человъческимъ я заключается въ томъ, что для звъря признать чужое я это значить признать свое пораженіе, каъ результать слабости своего тыла и значить ничтожества, — для человъка же признать чужое я это значитъ праздновать побъду, какъ слъдствіе силы своего духа и значить величія. Таковь мой мужь, и право же жаль, что такъ повернулось, что я остаюсь у него. Этотъ ударъ по его тупости, который нанесло бы ему извъстіе о моей измънъ, о предпочтении ему кого-то другого — пошло бы ему на пользу.

Ты помнишь, конечно, этотъ моментъ, когда, показывая тебъ квартиру, мы подошли, наконецъ, къ дверямъ нашей спальни. Ты помнишь такъ же, какъ я противилась и ни за что не хотъла открыть дверь, и какъ мужъ, разсерженный и непонимающій, все-таки открыль дверь, втолкнулъ меня и, пропуская тебя впередъ, сказалъ: — входите, входите, это наша спальня; — вы видите, здъсь все изъ краснаго дерева. Ты взглянулъ, ты посмотрълъ на неприбранную, на эту страшно разбросанную теперь, въ девять часовъ вечера постель, и ты поняль. Я знаю: въ эти минуты, стоя въ нашей спальнь, ты испытываль и ревность, и боль, и горечь оскорбленной, поруганной любви. Я и тогда уже знала, что ты испытываешь всв эти чувства. И только потомъ я узнала, что это оскорбление твоей любви - было часомъ рожденія твоей чувственности. Какъ жаль, что я поняла это слишкомъ поздно.

Ты знаешь, что было дальше. Я продолжала встръчаться съ тобою тайкомъ отъ мужа, но эти наши новыя встръчи были уже не ть, что раньше. Каждый разъ ты приводилъ меня въ какую то трущобу, срывалъ съ меня и съ себя платье и браль меня съ каждымъ разомъ грубъе, безжалостиве, циничнъй. Не упрекай меня за то, что я позволяла это дълать. Не говори, что это доставляло мнъ хотя минуту радости. Я переносила этотъ развратъ, какъ больной переносить лекарство: онъ думаеть этимъ спасти свою жизнь, — я думала спасти свою любовь. Въ первые дни, хотя я и замътила, хотя и поняла, что твоя чувственность разогравается въ соотватствии съ остываниемъ твоей любви. — я еще на что-то надъялась, я еще чего-то ждала. Но вчера, — вчера я почувствовала, я поняла, что даже и чувственности нътъ въ тебъ больше, что ты сытъ, что я лишняя, что такъ продолжаться не должно. Ты помнишь, какъ вчера, взойдя со мной въ грязнущую каморку гостинницы, ты лаже не поцъловалъ меня, не обнялъ, не сказалъ даже слова привъта, и молча, со спокойствіемъ чиновника, пришедшаго на службу, началъ раздъваться. Я смотръла на тебя, на то, какъ ты, стоя передо мною въ нижнемъ и, прости, не очень свъжемъ бъльъ, заботливо складывалъ брюки, какъ потомъ подошелъ къ умывальнику, снялъ полотенце, предусмотрительно положиль его подъ подушку, и какъ потомъ. — потомъ, послъ всего, ты, не стъсняясь, даже не отворачиваясь отъ меня, вытерся, и предложивъ мив сдълать то же — повернулся спиной и закурилъ папиросу. — Что же, — спрашивала я себя, — это и есть та самая любовь, ради которой я готова бросить все, сломать и исковеркать жизнь. Нътъ, Вадимъ, нътъ милый, это не любовь, а это грязь, мутная, мерзкая. Такая грязь имъется въ моемъ домъ въ такомъ достаткъ, что я не вижу нужды переносить ее изъ моей супружеской спальни, гдв «все изъ краснаго дерева»», въ затхлый номеръ притона. И пусть это тебь покажется жестокимь, но я еще хочу сказать, что въ выборъ между тобой и мужемъ, — я теперь отдаю предпочтеніе не только обстановкамъ, но и лицамъ. Да, Ва димъ, въ выборъ между тобой и мужемъ, я, помимо всякихъ обстановокъ, предпочту моего мужа. Пойми. Эротика мо его мужа — это результатъ его духовнаго нищенства: оно у него профессіонально и потому не оскорбительно. Твое же отношеніе ко мнъ — это какое то безпрерывное паденіе, какое-то стремительное обнищаніе чувствъ, которое, какъ всякое обнищаніе, унижаетъ меня тъмъ больнъе, чъмъ большему богатству въ прошломъ оно идетъ на смъну.

Прощай, Вадимъ. Прощай, милый, дорогой мой мальчикъ. Прощай, моя мечта, моя сказка, мой сонъ. Върь мнъ: ты молодъ, вся жизнь твоя впереди, и ты-то еще будешь счастливъ. Прощай же.

Соня.

КОКАИНЪ

1.

Уже нельзя было лечь на подоконникъ, темно сърый и каменный, съ фальшивыми нитями мраморныхъ жилъ, и съ обструганнымъ, обнажавшимъ бълый камень краемъ, о который точились перочинные ножи. Уже нельзя было. легши на этотъ подоконникъ и вытянувъ голову, увидъть длинный и узкій, съ асфальтированной дорожкой, дворъ, - съ деревянными, всегда запертыми воротами, съ боку которыхъ, точно утомленно отяжелъвъ, отвисала на ржавой петяв калитка, гдв объ нижнюю перекладину всегда спотыкались жильцы, а споткнувшись, непремыню на нес ругающими глазами оглядывались. Была зима, окна были законопачены вкусно-сливочнаго цвата замазкой, рамами стекла округло лежала вата, въ вать были вставлены два узкихъ и высокихъ стаканчика съ желтой жидкостью. — и подходя еще по латней привычка къ окну, гда изъ-подъ подоконника дышало сухимъ жаромъ, по особенному чувствовалась та отръзанность улицы, которая (въ зависимости отъ настроенія) возбуждала чувство уюти или тоски. Теперь изъ окна моей комнатенки видна была только соседняя стена съ застывщими на кирпичахъ серыми потокамъ известки, -- да еще внизу, то самое отгороженное частокольчикомъ мъсто, которое швейцаръ нашъ Матвъй внушительно называлъ садомъ для господъ, причемъ достаточно было взглянуть на этотъ садъ или на этихъ господъ, чтобы понять, что та особенная почтительность Матвья, съ которой онъ отзывался о своихъ господахъ, была не болье, какъ разсчетливое взвинчивание своего собственнаго достоинства, за счетъ возвеличения людей, которымъ онъ былъ подчиненъ.

За послъдніе мъсяцы особенно часто случалась тоска. Тогда, подолгу простаивая у окна, держа въ пальцевъ папиросу, изъ которой со стороны мандариноваго ея огонька шелъ синій-синій, а со стороны мундштука грязно сърый дымокъ, я пытался счесть на сосъдней стънъ кирпичи, или вечеромъ, потушивъ лампу и вмъсть съ ней черное двоение комнаты въ сразу шемъ стеклъ, подходилъ къ окну, и, задравъ голову, такъ долго смотрълъ на густо падающій снъгъ, пока не начиналъ лифтомъ вхать вверхъ, навстрвчу неподвижнымъ канатамъ снъга. Иногда еще, безцъльно побродивъ по корридору, я открываль дверь, выходиль на холодную лвстницу, и, думая, кому бы мив позвонить, хотя и зналь хорошо, что звонить рышительно некому, внизъ къ телефону. Тамъ, у такъ называемой парадной двери, въ суконной синей и назади гармонью стянутой поддевкъ, въ фуражкъ съ золотымъ околышемъ, поставивъ сапоги на перекладину табурета, - сидълъ рыжій Матвъй. Поглаживая ручищами кольни, словно онъ ихъ жестоко зашибъ, онъ время отъ времени запрокидывалъ голову, страшно раскрываль роть, обнажая приподнявшійся и трепетавшій тамъ языкъ, и такъ зіввая, испускалъ тоскующій рыкъ, сперва тонально наверхъ а-о-и, — и потомъ обратно и-о-а. А зъвнувъ, сейчасъ же, еще съ глазами, полными сонныхъ слезъ, укоризненно самому себъ качалъ головой, и потомъ умывающимися движеніями такъ кръпко теръ ладонями лицо, словно лялъ сорванной кожей придать себъ бодрости.

Въроятно, этой-то зъвотной склонности Матвъя должно было приписать то обстоятельство, что жильцы дома, гдъ только и какъ только возможно, избъгали и даже какъ бы пренебрегали его услугами, и вотъ уже много лътъ въ домъ были приспособлены звонки, шедшіе изъ телефонной будки ръшительно во всъ квартиры, чтобы

въ случав телефоннаго вызева, Матввю было достаточно только надавить соответствующую кнопку.

Моимъ условнымъ вызовомъ внизъ къ телефону -быль длинный, тревожный звонокъ, который, въ особенности теперь, за последніе месяцы, пріобрель для меня характеръ радостной, волнующей значимости. Однако, звонки такіе случались все ріже. Ягъ быль влюблень. Онъ сошелся съ немолодой уже женщиной испанскаго типа, которая, почему-то, возненавидъла меня съ первой же встръчи, и мы видълись ръдко. Нъсколько разъ я пробовалъ встръчаться съ Буркевицемъ, но потомъ ръщительно бросилъ, никакъ не находя съ нимъ общаго тона. Съ нимъ, съ Буркевицемъ, который теперь сталъ революціонеромъ, нужно было говорить или гражданственно возмущаясь чужими, или исповъдуясь въ собственныхъ гръхахъ противъ народнаго благосостоянія. И то и другое было мнъ. привыкшему свои чувства закрывать цинизмомъ, или ужъ если выражать ихъ, то въ видъ юмора, — до стыдности противно. Буркевицъ же какъ разъ принадлежалъ къ числу людей, которые, въ силу возвышенности исповъдуемыхъ ими идеаловъ, осуждаютъ и юморъ и цинизмъ: — юморъ, потому что они видять въ немъ присутствје цинизма, -- цинизмъ, потому что они находятъ въ немъ отсутсвіе юмора. Оставался только Штейнъ, и изръдка онъ звонилъ мнъ, звалъ къ себъ посидъть и я всегда слъдовалъ этимъ приглапиеніямъ.

Штейнъ жилъ въ роскошномъ домв, съ мраморными льстницами, съ малиновыми дорожками, изысканно внимательнымъ швейцаромъ и лифтомъ, купэ котораго, пахнущее духами, взлетало вверхъ съ тьмъ неожиданнымъ и всегда непріятнымъ толкомъ остановки, когда сердце еще мигъ продолжало летвть вверхъ и потомъ падало обратно. Лишь только горничная открывала мнв громадную, бълую и лаковую дверь, лишь только охватывали меня тишина и запахи этой очень большой и очень дорогой квартиры, — какъ навстрвчу мнв уже выбъгалъ, словно въ

ужасно дъловой торопливости, Штейнъ и, взявъ меня за руку, быстро велъ къ себъ въ комнату.

Усадивъ меня, но самъ никогда не садясь, Штейнъ тотчасъ начиналъ рыться у себя въ шкапу, шарилъ въ карманахъ костюмовъ, и неръдко даже выбъгалъ въ переднюю, видимо и тамъ роясь по карманамъ въ своихъ шубахъ и пальто. Когда все было перерыто, Штейнъ, успокоенный, что ничего не потеряно, кладъ предметы своихъ поисковъ передо мной на столъ. Все это были старые, уже использованные билеты, пригласительныя карточки, афишки спектаклей, концертовъ и баловъ, — словомъ, вещественныя доказательства того, гдв онъ бывалъ, въ какомъ театръ, на какой премьеръ, въ какомъ ряду сидълъ, и, главное, сколько имъ было за это заплачено. Разложивъ все это въ такомъ порядкъ, чтобы сила производимаго на меня впечатльнія равномырно возростала, и руководствуясь при этой сортировкъ лишь величиной цъны, которая была за этотъ билетъ заплачена. Штейнъ, утомленно щурясь, какъ бы преодольвая усталость, дабы честно выполнить чрезвычайно скучную обязанность, начиналъ свое повъствованіе.

Никогда ни единымъ словомъ не упоминая о томъ, хорошо или плохо играли актеры, хороша-ли или дурна была пьеса, хорошъ-ли былъ оркестръ или концеартантъ и вообще какое впечатльніе, какія чувства вынесены имъ изъ всего видъннаго и слышаннаго со сцены, — Штейнъ лишь разсказываль (и это съ мельчайшими подробностями) о томъ, какова была публика, кого изъ знакомыхъ онъ повидалъ, въ какомъ ряду креселъ они сидъли, съ къмъ была въ ложь содержанка биржевика А., или гдъ и съ къмъ сидълъ бандиръ Б., какимъ людямъ онъ, Штейнъ, былъ въ этотъ вечеръ представленъ, сколько эти его новые знакомые въ годъ (Штейнъ никогда не говорилъ зарабатываютъ) наживаютъ, и было очевидно, что совершенно такъ же, какъ и нашъ швейцаръ Матвъй, онъ съ совершенной искренностью върить въ то, что чрезвычайно возвеличивается въ моихъ глазахъ, за счетъ доходовъ и высокаго

положенія своихъ знакомыхъ. Съ лѣнивой гордостью пробаранивъ все это и упомянувъ еще о томъ, какъ трудно было получить билетъ и сколько было при этомъ переплачено барышнику, Штейнъ, наконецъ, склонялся надо мной и подтачивалъ холенымъ ногтемъ своего большого, бѣлаго и шибко расплющеннаго пальца высокую кассовую стоимость билета. Тутъ онъ замолкалъ и, привлекши этимъ молчаніемъ мой взглядъ съ билета на себя — разводилъ руками, клалъ голову на плечо и улыбался мнъ той плачущей улыбкой, которая обозначала, что эта безмърно высокая стоимость билета его, — Штейна, настолько забавляетъ, что онъ уже не въ силахъ возмущаться.

Иногда, когда я приходилъ къ Штейну, онъ на своихъ длинныхъ ножищахъ находился въ лихорадочной спешкв. Страшно торопясь, онъ брился, поминутно бегалъ въ ванную и прибегалъ обратно, собираясь куда-то — то ли на балъ, на вечеръ, въ гости или на концертъ, и было странно, зачемъ понадобился ему я, котораго онъ вызвалъ только что по телефону. Разбрасывая вещи, нужныя и ненужныя ему для этого вечера, онъ въ торопливости мне ихъ показывалъ, — тутъ были помочи, носки, платки, духи, галстухи, — мимоходомъ называя цены и место покупки.

Когда же, уже совствит готовый, въ шелковистаго сукна шубъ, въ остроконечной бобровой шапкъ, рыже морщась отъ закуренной сигары, которая ъла ему глазъ, задравъ передъ зеркаломъ голову и шаря рукой по бритому
напудренному горлу (смотрясь въ зеркало, Штейнъ всегда по рыбъи опускалъ углы губъ) — онъ вдругъ отрывисто говорилъ — ну, ъдемъ, — то, съ явнымъ трудомъ отводя глаза отъ зеркала, быстро шелъ къ двери и такъ поспъшно сбъгалъ по тихо звякающимъ дорожкамъ лъстницы, что я еле его догонялъ. Не знаю почему, но въ этомъ
моемъ бъгъ за нимъ по лъстницамъ было что-то ужасно
обидное, унизительное, стыдное. Внизу у подъъзда, гдъ
Штейна ждалъ лихачъ, онъ уже безъ всякаго интереса прощался со мной, подавалъ мнъ нежмущую руку и, тотчасъ
отнявъ ее и отвернувшись, садился и уъзжалъ.

Помню, какъ-то я попросилъ у него взаймы денегь, какую-то малость, нъсколько рублей. Ни слова не говоря, Штейнъ, округлымъ движеніемъ, и будто отъ дыма сморщивъ глазъ (хоть онъ въ этотъ моментъ и не курилъ), вытащилъ изъ бокового кармана шелковый съ прожилинами портфель, и вынулъ оттуда новенькую хрустящую сторублевку. — Неужели дастъ? — подумалось мнъ, — и странно, несмотря на то, что деньги были мнв очень нужны, я почувствовалъ непріятнъйшее разочарованіе. Будто въ этотъ короткій моменть я увърился въ томъ, что доброта, выказанная подлецомъ, — разочаровываетъ совершенно такъ же, какъ и подлость, свершаемая человъкомъ высокаго идеала. Но Штейнъ не далъ. — Это все, что у меня есть, - сказалъ онъ, кивая подбородкомъ на сторублевку. — Будь эти сто рублей въ мелкихъ купюрахъ, я, конечно, даль бы тебъ даже десять рублей. Но они у меня въ одной бумажкъ, и потому мънять ее я не согласенъ, даже если бы тебф нужны были всего десять копфекъ. При этомъ, однако, его рыже холодные глаза, глядъвшіе, какъ всегда, не въ мои глаза, а только въ лицо, не увидали, видимо, того, что собирались увидъть. — Размънянная сторублевка это уже не сто рублей, — откровенно теряя теривніе, пояснилъ онъ, зачъмъ-то при этомъ показывая мнъ вывернутую ладонь. — Размънянныя деньги — это уже затронутыя и значить истраченныя деньги. — Конечно, конечно, -- говорилъ я, и радостно кивалъ головой, и радостно ему улыбался, и изо всъхъ силъ стараясь скрыть свою обиду, чувтвуя, что, обнаруживъ ее (правду, правду писала Соня), я обижу себя еще больнъе. А Штейнъ съ лицомъ, выражающимъ одновременно укоризну, потому что немъ усумнились, — и удовлетвореніе, потому что все же признали его правоту, — широко развелъ руками. — Господа, — съ самодовольной укоризной говорилъ онъ, — пора. Пора стать, наконецъ, европейцами. Пора понимать такія вещи.

Несмотря на то, что я довольно часто бывалъ у Штейна, онъ не потрудился познакомить меня со своими роди-

телями. Правда, бывай Штейнъ у меня, такъ и я не познакомилъ бы его со своей матерью. Однако, эта одинаковость нашихъ дъйствій, имъла совершенно разныя причины: Штейнъ не знакомилъ меня со своими родными, ибо ему передъ ними было совъстно за меня, — я же не познакомилъ бы Штейна со своей матерью, ибо совъстился бы передъ Штейномъ за свою мать. И каждый разъ, приходя отъ Штейна домой, я мучился горькой оскорбленностью бъдняка, духовное превосходство котораго слишкомъ сильно, чтобы допустить его до откровенной зависти, и слишкомъ слабо, чтобы оставить его равнодушнымъ.

Есть много странности въ томъ, что противнъйшія явленія имъютъ почти непреодолимую власть притягательности. Вотъ сидитъ человъкъ и объдаетъ и вдругъ, гдъ-то, за его спиной, вытошнило собаку. Человъкъ можетъ дальше ъсть и не смотръть на эту гадость. Человъкъ, наконецъ, можетъ перестать ъсть и выйти и не смотръть. Онъ можетъ, Но какая-то нудная тяга, словно соблазнъ (а ужъ какой же тутъ, помилуйте, соблазнъ) тащить и тащить его голову обернуться и взглянуть, взглянуть на то, что подернетъ его дрожью отвращенія, и на что онъ смотръть ръшительно не желаетъ.

Вотъ такую-то тягу я чувствовалъ въ отношеніи къ Штейну. Каждый разъ, возвращаясь отъ Штейна, я увърялъ себя, что больше ноги моей тамъ не будетъ. Но черезъ нъсколько дней звонилъ Штейнъ, и снова я шелъ къ нему, шелъ какъ бы за тъмъ, чтобы сладостно бередить свое отвращеніе. Часто, лежа у себя въ комнатенкъ при погашенной лампъ я воображалъ, что вотъ занимаюсь какой то торговлей, дъла идутъ замъчательно, и вотъ я уже открываю собственный банкъ, между тъмъ какъ Штейнъ, совершенно оборванный, обнищавшій, бъгаетъ за мной, добивается моей дружбы, завидуетъ мнъ. Такія мечты, такія видънія были мнъ чрезвычайно пріятны, при чемъ (хоть это и можетъ показаться весьма страннымъ и противоръчивымъ), но именно это-то чувство пріятности, возбуждаемое во мнъ подобными картинами, было мнъ до крайности

непріятно. Во всякомъ случав, какъ бы тамъ ни было, я в въ этотъ вечеръ радостно вскочилъ съ дивана, когда раздался этотъ бъщеный, долгій звонокъ, звавщій меня къ телефону. Въ этотъ памятный, въ этотъ ужасный для меня вечеръ, я снова, какъ и раньше, готовъ былъ идти къ зовущему меня Штейну. Но это быль не Штейнь. И когда сбъжавъ по холодной лъстницъ и забъжавъ въ телефонную, пропахшую пудрой и потомъ, будку, я поднялъ висввшую на зеленомъ скрюченномъ шнуръ у самаго пола трубку, то шопотъ, который захаркалъ оттуда, принадлежалъ не Штейну, а Зандеру, — студенту, съ которымъ я весьма недавно познакомился въ канцеляріи университета И этотъ Зандеръ хрипло даялъ мнв въ ухо, что онъ съ пріятелемъ нынче ночью ръшили устроить понюхонъ поняль, переспросиль и онь поясниль, что это значить нюхать кокаинъ), что у нихъ мало денегъ, что было бы хорошо. если бы я смогъ ихъ выручить, и что они меня ждутъ въ кафэ. О кокаинъ у меня было весьма смутное представленіе, мнъ почему-то казалось, что это что то вродъ алкоголя (по крайней мъръ, по степени опасности воздъйствія на организмъ), и такъ какъ въ этотъ вечеръ, впрочемъ, и во всъ послъдніе вечера, я совершенно не зналъ, что мив съ собою двлать и куда бы пойти, и такъ какъ у меня имълось пятнадцать рублей, то я съ радостью принялъ приглашеніе.

2.

Стоялъ сухой и шибкій морозъ, которымъ все, точно до треска, было сжато. Когда сани подполэли къ пассажу, то со всъхъ сторонъ падалъ металлическій визгъ шаговъ, и отовсюду съ крышъ шелъ дымъ такими бълыми столбами вверхъ, словно городъ гигантской лампадой свисалъ съ неба. Въ пассажъ было тоже очень холодно и гулко, зеркала были заснъжены, — но только я отворилъ дверь въ кафэ, какъ оттуда вырвалось прачешное облако тепла, запаховъ и звуковъ.

Маленькая раздѣвальня, только перегородкой отдѣленная отъ залы, была такъ тѣсно набита висѣвшими одна на другой шубами, что швейцаръ пыхтѣлъ и подпрыгивалъ, еловно лѣзъ на гору, когда, держа снятую съ меня шинель за талію, слѣпо водилъ ее падавшимъ внизъ и никакъ не цѣплявшимъ крючка шиворотомъ. На полкѣ и на зеркалѣ фуражки и шапки тѣсно стояли колонками одна на другой, внизу калоши и ботики, вставленные другъ въ друга, были на подошвахъ испачканы мѣломъ съ обозначеніемъ номеровъ.

Какъ разъ, когда я протиснулся въ залъ, скрипачъ, уже со скрипкой, вставленной подъ подбородокъ, торжественно поднялъ смычокъ и, привставъ на цыпчкахъ и поднявъ плечи, — вдругъ опустился, и (движеніемъ этимъ рванувъ за собою піанино и віолончель) заигралъ.

Стоя рядомъ съ музыкантами и глядя въ переполненвый залъ, который, какъ только заиграли, сразу наддалъ шумомъ голосовъ, я пытался выловить Зандера. Рядомъ піанистъ здорово работалъ локтями, лопатками и всей спиной, гнулся стуль съ подложенной подъ нимъ драной книгой нотъ и гулялъ отлипающей спинкой, — віолончелистъ, поднятыми бровями разнѣживъ лицо, припадалъ ухомъ къ шатающемуся на струнѣ пальцу, — а скрипачъ, крѣпко разставивъ ноги, въ нетерпѣливой страстности вилялъ торсомъ, и ужасно совѣстно становилось за его похотливо радующееся собственнымъ звукамъ лицо, которое съ такой веселой настойчивостью приглашало на себя посмотрѣть, и на которое рѣшительно никто не смотрѣлъ.

Приподнимаясь на носкахъ, втягивая животъ и бокомъ пролъзая межъ тъсно поставленными столиками, — я невольно (по какой-то, часто случавшейся за послъдніе месяцы, необходимости обнажать передъ собою умственное свое ничтожество), — искалъ и, конечно, не находилъточнаго опредъленія — что такое музыка. Здъсь, на другой сторонъ зала, было чуть просторнъе, звуки, какъ вътеръ перемънивъ направленіе, временами уходили отъ музыкантовъ, и тогда смычки ихъ ходили беззвучно. А у ог

ромнаго окна, возвышаясь надъ головами, уже стоялъ Зандеръ и, привлекая мое вниманіе, махалъ платкомъ.

» Ну, наконецъ-то, вотъ, — ну, наконецъ-то, вотъ и ты, - говорилъ онъ, продираясь мнв навстрвчу и схватывая мою руку двумя руками. — Ну, какъ живемъ, — (онъ задрожалъ головой), — ну, какъ живемъ, Вадя. У него была бользнь дрожать головой, посль чего всь сказанныя уже слова будто забывались имъ, вытряхивались изъ него, и съ назойливымъ упорствомъ онъ повторялъ ихъ сначала. Его колючіе глазки и хищный нось радостно моршились. Не выпуская моей руки и пятясь по тесному проходу, онъ проволокъ меня къ столику, за которымъ сидъло еще двое. По тому, какъ они выжидательно смотръли мнв въ глаза, было очевидно, что они въ компаніи съ Зандеромъ, и что онъ сейчасъ насъ будетъ знакомить. Одного изъ поднявщихся намъ навстръчу Зандеръ назвалъ Хирге, другого Микомъ, при этомъ три раза дрожалъ головой и три раза начиналь о томъ, что этотъ Микъ — каррикатурстъ и танцоръ. Про другого, про Хирге Зандеръ не сказалъ ничего, но Хирге этого легко было опредълить (по крайней мъръ внъшне) двумя словами: лънивое отвращение. Когда мы подошли къ столику. Хирге съ лънивымъ отвращениемъ поднялся, съ лънивымъ отвращениемъ подалъ мнъ руку, и снова усъвшись, съ лънивымъ отвращениемъ началъ смотръть поверхъ головъ. Второй, Микъ, былъ явно очень нервенъ. Не вынимая изо рта папиросы (она качалась, когда онъ говорилъ) онъ, не глядя на меня обратился къ Зандеру. — Ну, ты не засиживайся и выясняй, выясняй положение. И услышавъ отъ Зандера, что положение выяснено, что имъется пятнадцать рублей, онъ сдълалъ кислое лицо Зандеру, потомъ улыбку, потомъ все снялъ и громко застучалъ кольцомъ о стекло стола. Хирге съ лънивымъ отвращеніемъ смотрълъ въ сторону. Кельнерша, съ ужасно истощеннымъ лицомъ, которое мнъ сразу показалось знакомымъ, круго повернула на стукъ, и кръпко налегая крахмальнымъ фартучкомъ на острый уголъ стола, воткнувъ его въ животъ, стала собирать пустые стаканы. Только, когда, собирая окурки (они лежали не въ пепельницѣ, а были разбросаны прямо на столѣ), она, брезгливо опустивъ губы, такъ покачала головой, будто ничего, кромѣ подобнаго свинства отъ насъ и не ожидала, — я призналъ въ ней Нелли. Не взглянувъ на меня, котъ я и поздоровался съ нею и спросилъ ее, какъ она поживаетъ, она продолжала поспѣшно вытирать стекло стола тряпочкой, тихо сказала — ничего, мерси, — покраснѣла кирпичными, больными пятнами, а когда собрала все со стола, то пугливо оглянулась въ сторону буфета, и вдругъ, наклонившись къ Хирге, быстро сказала, что она сейчасъ смѣняется, и что будетъ ждать внизу. На что Хирге (онъ какъ разъ опирался руками о столъ и отъ усилія подняться такъ перекосилъ лицо, словно смертельно раненъ въ спину) съ лѣнивымъ отвращеніемъ мотнулъ головой.

3.

Не прошло и четверти часа, какъ всв мы, Нелли, Зандеръ, Микъ и я, расположились въ ожиданіи на минуту отлучившагося за кокаиномъ Хирге (мнв по дорогв сообщили, что Хирге не нюхаеть, а только торгуеть кокаиномъ), въ корошо натопленной комнать, заставленной чрезвычайно старой мебелью. Сейчась же за дверью, такъ что последнюю можно было открыть только наполовину, стояло старенькое піанино; его клавиши были цвъта нечищевныхъ зубовъ, а во ввинченныхъ въ піанинную грудь и отвисавшихъ внизъ подсвачникахъ, торчали, склоняясь въ разныя стороны (отверстія подсвічниковъ были слишкомъ велики), витыя красныя свычи, испещренныя какими-то золотыми точечками и сверху торчали бълые фитилей. Дальше по ствив шель выступъ камина, на бвлой и мраморной доскъ котораго, подъ стекляннымъ колпакомъ, два бронзовыхъ французскихъ джентльмена, въ камзолахъ, чулкахъ и ботиночкахъ съ пряжками, склонивъ головки и сдълавъ ножками менуэтное па, собирались элегантно подбросить часы, съ бълымъ безъ стекла цифер-

блатомъ, съ черной дыркой для завода, и съ одной только стрълкой, да и то изогнутой. Въ серединъ комнаты стояли низкія кресла, бархатъ которыхъ, когда его гладили по ворсу, давалъ желтый, а противъ ворса черный оттынки съ такой отчетливостью, что по немъ можно было писать. А посреди кресель стояль черный, овальной формы, лакированный столъ, и подъ нимъ его замысловато изогнутыя ножки соединялись на изгибъ пластинкой, на которой лежалъ фамильный альбомъ, въ чемъ я тотчасъ и убъдился, лишь только его вытащиль. Альбомъ этоть запирался пряжкой съ шишечкой, нажавъ на которую онъ, скакнувъ, раскрывался Переплетъ альбома былъ изъ лиловаго бархата (въ нижнемъ переплеть по угламъ имълись мъдныя, выпуклыя головки гвоздей, немного сточенныя, — альбомъ на нихъ покоился, какъ на колесикахъ), между тъмъ какъ на верхнемъ переплетъ изображена была потрескавшимися красками лихо несущаяся тройка съ замахнувшимся кну-томъ ямщикомъ и съ облаками подъ полозьями. Я раскрыль было и только началь листать внутреннія страницы, которыя были позолочены на ободкахъ и изъ такого массивнаго картона, что при переворачиваніи щелкали другъ о друга, словно деревянныя, — какъ въ это время Микъ оживленно позвалъ меня въ другой конецъ комнаты. — Вотъ, полюбуйтесь-ка, — сказалъ онъ, не оглядываясь на меня и подзывая ближе вытянутой назадъ рукой. — Вы только посмотрите на этого байструка, вы поглядите только на этогъ ужасъ. И онъ указалъ мив на броизоваго и голаго младенца, пухленькой ручкой державшаго на въсу громаднъйшій канделябръ. — Въдь страшно подумать, — вскричалъ Микъ, прижимая кулакъ ко лбу, — въ какой идіотической тьмъ пребывали люди, которые это работали, и еще тъ, которые такую штуку покупали. Нътъ, милый, вы посмотрите (онъ схватилъ меня за плечи), вы посмотрите только на его физію. Подумайте, (онъ прижалъ кулакъ ко лбу), въдь этотъ младенецъ поднимаетъ вытянутой рученкой такую тяжесть, которая превышаеть въ пять разъ его собственним въсъ, въдь это чудовищно, въдь это какъ

для насъ съ вами двадцать пудовъ. Ну? А между твиъ что выражаетъ его личико. Видите-ли вы въ немъ хотя бы малъйшій отголосокъ борьбы, усилія или напряженія? Да отпилите вы отъ его рученки этотъ канделябръ, и, увъряю васъ, что даже самая чувствительная кормилица, глядя на его мордашку, не сумъетъ угадать, хочетъ-ли этотъ младенецъ спать, или онъ будетъ сейчасъ.... Ужасъ, ужасъ.

— Ну, какого тебф рожна опять надо, — весело закричаль Зандерь съ другого конца комнаты и пошель было, обходя кресла, въ нашу сторону, но въ этотъ моментъ въ комнату вошелъ Хирге. Онъ былъ въ халатъ, прижимая руки къ груди что-то съ осторожностью несъ, и какъ только онъ вошелъ, нътъ, какъ только онъ отворилъ колънкою дверь, всъ — Микъ, Зандеръ и Нелли, пошли ему навстръчу и такъ какъ онъ не остановился, то опять обратно за нимъ къ лакированному столику, гдъ подъ висячей лампой было свътлъе. Подошелъ и я.

На столикъ уже стояла небольшая жестяная коробка, нохожая на тв, въ которыхъ у Абрикосова продавали соломку, только меньше и короче. На ен блестящей, словно начищенной жести, кое-гдъ виднълись приклеившіяся лохматки сорванной бумаги. Рядомъ лежало еще что-то вродь циркуля съ ниточкой, и еще тутъ же деревянная коробочка. — Ну, валяй, валяй, ждагь-то нечего, — сказаль Микъ, — посмотри-ка на нашу красавицу, ей уже совсъмъ невтерпежъ. И онъ кивнулъ на Нелли, которая, съ лицомъ внезапно заболъвшаго человъка, въ нетерпъніи то опускалась локтями на столъ, то снова выпрямлялась, при этомъ не спуская глазъ съ Хирге, словно прицъливалась, откуда лучше откусить: сверху или снизу. Хирге устало потеръ лобъ и, съ отвращениемъ ворочая языкомъ и губами, сказалъ: - сегодня граммъ стоитъ семь пятьдесятъ, вамъ значить сколько. Последнія слова относились ко мне и, видя, каъ Зандеръ возмущенно моргалъ мнъ глазами, будто еще раньше разучилъ со мною роль, которую теперь, когда нужно ее произнести, я запамятоваль, - я сказаль,

что v меня имъется безъ какой-то малости пятнадцать рублей. — А миъ одинъ граммъ, — вдругъ и совсъмъ неожиданно сказала Нелли, и прикусила нижнюю губу до бъ даго пятнышка. Хирге, прикрывъ глаза, въ видъ согласія даль чуть-чуть упасть головь, положиль на борть стола зажженную папиросу и, нисколько не обращая вниманія на Мика, который, съ шумнымъ нетерпнътемъ выпыхнувъ воздухъ, зашагалъ по комнатъ, неся (какъ кувшинъ) запрокинутыми руками свою голову, — раскрылъ жестяную коробку. — Вамъ, значитъ, два грамма, — сказалъ мнъ Хирге, пытаясь осторожно вытащить то синее, что лежало въ жестянкъ. — Нътъ, какъ же, — вмъшался Зандеръ, останавливая его. — это въдь надо раздълить. И подрожавъ головой еще разъ: — это въдь надо раздълить. Но къ столу уже подбъжалъ Микъ и, поднимая указательный палецъ (будто ему пришла замъчательная мысль), нымъ голосомъ предложилъ раздълить всъ три грамма поровну на четыре части, чтобы на каждаго пришлось бы по три четверти. Со эло опущенными глазами Нелли сказала: — нътъ, ужъ миъ цъльный граммъ; цъльный день за эти деньги работаешь, работаешь. Она опять прикусила губу, а глазъ не поднимала. — Хорошо, хорошо, — примирительно и элобно махнулъ на нее Микъ, — тогда сдълаемъ иначе. И онъ предложилъ раздълить мои два грамма, давъ ему и Зандеру по три четверти, мнв же, какъ начинающему, половину. — Въдь можно, да, — спросилъ онъ, ласково глядя мнв въ глаза. И только Зандеръ еще вмвшался, высказавъ сомнъніе, составляютъ-ли двъ три четверти и одна половина — два целыхъ.

Видя, что общее согласіе наконецъ достигнуто, Хирге, стоявшій до того съ опущенной головой и руками, приняль отъ меня и отъ Нелли деньги, пересчиталь ихъ, положиль въ карманъ, и еще разъ отодвинувъ папиросу, чтобы она не ожгла стола, взялся за жестяную коробочку, въ которой виднълось что-то синее. Только теперь, когда Хирге вытащилъ это синее изъ коробки, я понялъ, что это кулекъ изъ синей бумаги, и что рядомъ съ

пустой теперь жестянкой лежать аптекарскіе высы, принятые раные за циркуль. Изъ жилетнаго кармана Xupre выташиль костяную лопатку и нъсколько бумажекъ, сложенныхъ какъ въ аптекъ для порошковъ. Развернувъ одну изъ нихъ, — она была пуста, — Хирге вложилъ ее въ чашечку въсовъ, и бросивъ на другую крошечный металическій образокъ, взятый изъ ящичка (въ немъ лежали гирьки). — приподняль коромысло въсовъ настолько, чтобы ниточки натянулись, чашечки-же въсовъ оставались-бы въ соприкосновеніи со столомъ. Продолжая такъ одной рукой держать въсы, Хирге другой рукой, въ которой была костяная лоцатка, раскрылъ отверстіе цакета и опустилъ въ него лопатку. Бумага застрекотала, и а замьтиль, что въ синемъ кулькъ находится вдътый въ него вплотную еще другой кулекъ, изъ бълой (она-то и застрекотала) словно-бы вощеной бумаги. На осторожно выташенной затымь костяной допаткы горбикомы дежаль бълый порошокъ. Онъ быль очень бъль и сверкалъ кристаллически. напоминая нафталинъ. Хирге съ очень большой осторожностью сбросиль порошокъ въ пакетикъ на въсахъ и другой рукой приподняль выше коромысло. Чашечка съ гирькой оказалась тяжелье. Тогда, не опуская приподнятыхъ надъ столомъ въсовъ, Хирге снова воткнулъ костяную лопатку въ синій пакетъ, но видимо это было очень неудобно и тяжело рукв. — Подержи-ка пакетъ, — сказалъ онъ Мику, стоявшему къ нему ближе другихъ, — и только теперь, когда онъ сказалъ эти слова, я поняль, какая ужасная тишина была въ комнать. — Э, да тутъ почти ничего нътъ, — сказалъ Микъ, въ то время Хирге, не отвъчая и доставъ лопаткой еще кокаина, сбрасываль его съ лопатки на въсы тъмъ движеніемъ ударяющаго пальца, которымъ сбрасываютъ пепелъ съ паниросы. Когда коромысло въсовъ выровнялось. осторожнымъ и точнымъ движеніемъ сбросивъ обратно въ пакетъ остатокъ съ лопатки, опустилъ въсы, снялъ порошокъ и, закрывъ его и примявъ кокаинъ, который

тотчасъ пріобраль уплотненно сверкающую гладкость, протянуль порошокъ Нелли.

Пока Хирге взвъщивалъ и готовилъ слъдующій порошокъ, (обычно онъ продавалъ готовые порошки, но Микъ еще по дорогв, боясь, какъ я потомъ узналъ, что Хирге подмещаеть хинину, поставиль непременнымъ условіемъ свое присутствіе при развість), итакъ пока готовился слъдующій порошокъ, я смотрълъ на Нелли. Она тутъ-же на столъ раскрыла свой порошокъ, достала изъ сумочки короткую и узенькую стеклянную трубочку и концомъ ея отдълила крошечную кучку сразу разрыхлившагося кокаина. Затъмъ приставила къ этой кучкъ коканна конецъ трубочки, склонила голову, вставила верхній конецъ трубки въ ноздрю и потянула въ себя. Отдъленная ею кучка коканна, несмотря на то, что стекло не соприкасалось съ кокаиномъ, а было только надставлено надъ нимъ. — исчезла. Продвлавъ то-же съ ноздрей, она сложила порошокъ, вложила въ сумочку, отошла вглубь комнаты и разсвлась въ креслв.

Между твиъ Хирге успвлъ уже свешать следующій порошокъ, къ которому теперь тянулся Зандеръ. — Ахъ, не закрывай ты его пожалуйста. — говориль онь въ то время какъ Хирге, склоняя голову на бокъ, словно любуясь своей работой, заканчиваль порошокъ. — ахъ. да не придавливай, не дави ты его, не надо. И трясущейся рукой принявъ изъ спокойной руки Хирге раскрытый порошокъ. Зандеръ высыпалъ на тыловую сторону ладоня горку кокаина, однако-же много большую, чемъ это делала Нелли. Затъмъ, вытягивая свою волосатую шею такъ, чтобы оставаться надъ столомъ, Зандеръ приблизилъ къ горкъ кокаина носъ и не соприкасая его съ порошкомъ, перекосивъ ротъ, чтобы замкнуть другую ноздрю, шумно потянулъ воздухъ. Горка съ руки исчезла. То-же самое онъ продълалъ и съ другой ноздрей, съ той однако разницей. что порція кокаина, предназначавшаяся для нея, была такъ ничтожно мала, что была еле замътна. — Только въ лъвую ноздрю могу нюхать, — пояснилъ онъ мнъ

съ лицомъ человъка, который, разсказывая объ исключительности своей натуры, смягчаетъ квастовство — видомъ ведоумънія. При этомъ съ отвращеніемъ морщась онъ, шибко высунувъ языкъ, нъсколько разъ облизалъ то мъсто руки, на которое ссыпалъ кокаинъ, и, наконецъ, замътивъ, что изъ носа выпала на столъ пушинка, онъ склонился и лизнулъ столъ, оставивъ на лакированной поверхности мокрое, быстро сбъгающее, матовое пятно.

Теперь и мой порошокъ былъ уже взвъшенъ и лежалъ аккуратненько передо мною, между тъмъ какъ Микъ, затворивъ за вышедшимъ Хирге дверь, съ большой осторожностью высыпаль свой порошокъ въ вынутый изъ кармана крошечный стеклянный пузырекъ. Понюхавъ кокаина, (Микъ тоже нюхалъ какъ-то по своему, на иной ладъ, чъмъ другіе, — опускалъ въ пузырекъ, въ которомъ кокаинъ игольчато облъпилъ стънки, тупую сторону зубочистки и, вытащивъ на ея выгнутомъ кончикъ пирамидку порошка, подносилъ къ ноздръ, ничего не просыпая), понюхавъ онъ увидалъ мой еще нетронутый пакетикъ. — А вы-то что-же не нюхаете, — спросилъ онъ меня тономъ укора и недоумвнія, будто я читалъ гавету въ фойе театра, въ то время какъ спектакль уже начался. Я объяснилъ, что собственно не знаю какъ, да и у меня и нечьмъ. — Пойдемте, я вамъ все сдълаю, — сказалъ онъ совершенно такъ, словно у меня не было билета, и онъ выражалъ готовность мнв его дать. — Господа, - крикнулъ онъ Зандеру и Нелли, которые въ углу раскрывали ломберный столикъ и уже достали мълки и карты, — вы что-же тамъ, идите-же смотръть, тутъ въдь человъка ноздревой невинности лишаютъ. Микъ крылъ мой порошокъ, (кокаинъ былъ въ немъ плюснуть, въ серединь лежаль болье толстымъ слоемъ, по краямъ кончался волнистой линіей, и раскрытый Микомъ далъ въ толщъ трещину и будто весь подпрыгнулъ), концомъ зубочистки набралъ въ ея выемку немного порошку и, обнявъ меня за плечи, слегка притянулъ къ себъ. Близко передъ собой я видълъ теперь его лицо. Глаза его были горячи, влажны и блестящи, губы не раскрывансь безостановочно ходили, будто онъ сосалъ леденецъ. — Я поднесу эту понюшку къ вашей ноздрѣ и вы дернете въ себя носомъ, это все, — сказалъ Микъ, осторожно приподнимая зубочистку. И только я, почувствовалъ приблизившуюся зубочистку, хотълъ потянуть въ сбя воздухъ, какъ Микъ, сказавъ — эхъ, чертъ, — опустилъ ее. Она была пуста.

— Что-же ты сделаль, — разволновался Зандеръ, (онъ съ Нелли уже стояли у стояа), — ты-же сдулъ. Мев и на самомъ дълъ было странно, что мое дыханіе, которое я даже сдерживаль, могло снести этоть былый порошокъ, и замътивъ, что тужурка моя подъ подбородкомъ обсыпана, невольно, какъ это дълалъ съ пудрой, началъ счищать рукавомъ. — Да что-же ты дълаешь, сволочь. закричалъ Зандеръ и, вскинувшись и глухо грохнувъ коленями о полъ, вытащилъ тамъ свой порошокъ и сталъ въ него собрать пушинки. Чувствуя, что я сделалъ какуюто ужасную неловкость, я просительно посмотрыль на Нелли. — Нътъ, нътъ, вы не умъете, — тотчасъ успоконтельно отвітила она, переняла черезъ столъ отъ Мика вубочистку, (обходя ползавшаго по полу Зандера, шепнула совствить по бабьему, всасывая въ себя воздухъ оссподи) — и подошла ко мнв. — Видите-ли, миленькій мой, понимаете-ли меня, — махая зубочисткой, заговорила она немного невнятно, словно ей что сжимало зубы. кокаинъ, или какъ мы его называемъ, кокшъ, понимаете, просто кокшъ, ну, такъ вотъ значитъ кокшъ... — Или, какъ мы его называемъ, кокаинъ, — вставилъ Микъ, но Нелли махнула на него зубочисткой. — Ну, такъ вотъ кокшъ, — продолжала она, — онъ необычайно, онъ до волшебства, легкій. Понимаете, Мальйшаго дуновенія достаточно, чтобы его разсыпать. Поэтому, чтобы его не сдуть, вы не должны отъ себя дышать, или — должны заранье выпустить воздухъ. — Изъ легкихъ, разумвется, — мрачно замътилъ Микъ. — Изъ легкикъ, — ворковала Нелли, и сразу на Мика, — акъ, да убирайтесь вы, мъшаете только, — и снова ко мив, — ну, такъ понимаете, какъ только я поднесу понюшечку, такъ вы отъ себя не должны дышать, а сразу въ себя тянуть. Теперь поняли, да, — сказала она, набирая на зубочистку кокаинъ.

Послушно, такъ, какъ она приказала, я не дышалъ и потомъ въ себя, какъ только почувствовалъ щекотаніе зубочистки у ноздри. — Прекрасно, — сказала Нелли, телерь еще разъ, — и ковырнула снова зубочисткой въ порошкв. Отъ первой повюшки я не почувствоваль въ носу ничего, развъ только, да и то лишь въ мгновеніе, вогда потянулъ носомъ, своеобразный, но не непріятный запахъ аптеки, тотчасъ-же улетучившійся, лишь только я вдохнулъ его въ себя. Снова почувствовавъ зубочистку у другой ноздри, я опять потянуль въ себя этотъ разъ. осмълъвъ. много сильнъе. Однако, видимо. перестарался, почувствовавъ, какъ втянутый порошокъ щекочуще достигь носоглотки и, невольно глотнувъ, я тутъ-же почувствовалъ, какъ отъ гортани отвратительная и острая горечь разливается слюной у меня во рту.

Видя на себъ испытующій Неллинъ взглядъ, я старался не поморщиться. Ея обычно грязно голубые глаза были теперь совсъмъ черны, и только узенькая голубая полоска огибала этотъ черный, страшно расширенный и огневой зрачекъ. Губы-же, какъ и у Мика, кодили въ безпрерывномъ, облизывающемся движеніи, и я хотълъ было уже спросить, что-же они такое сосутъ, но какъ разъ въ этотъ моментъ Нелли, отдавъ зубочистку Мику и приведя уже въ порядокъ мой порошокъ, быстро пошла къ двери, обернувшись, сказала — я на минутку, сейчасъ вернусь, — и вышла.

Горечь во рту у меня почти совсъмъ прошла и осталась только та промерзлость гортани и десенъ, когда на морозъ долго дышешь широко раскрытымъ ртомъ, и когда потомъ, закрывъ его, онъ кажется еще холоднъе отъ теплой слюны. Зубы-же были заморожены совершенно, такъ что надавливая на одинъ зубъ, чувствовалось,

какъ за нимъ безболъзненно тянутся, словно другъ съ дружкой спаянные, всъ остальные.

— Вы должны теперь дышать только черезъ носъ, — сказалъ мнв Микъ и двйствительно дышать стало такъ легко, будто отверстія носа расширились до чрезвычайности, а воздухъ сталъ особенно пышенъ и сввжъ. — Э-те-те-те-те, — остановилъ меня Микъ испуганнымъ движеніемъ руки, завидя, что я досталъ платокъ. — Это вы бросьте, это нельзя, — строго сказалъ онъ. — Но если мнв необходимо высморкаться, — упорствомъ я. — Ну что вы такое говорите, — сказалъ онъ, выдвигая голову и прижимая ко лбу кулакъ. — Ну, какой-же дуракъ сморкается послв понюшки. Гдв-же это слыхано. Глотайте. На то ввдь это кокаинъ, а не средство противъ насморка.

Зандеръ, между тъмъ, держа въ рукъ свой порошокъ, сълъ на кончикъ стула, посидълъ такъ молча, подрожалъ головой, и словно что надумалъ, пошелъ къ двери. — Послушайка, Зандеръ, — остановилъ его Микъ, — ты тамъ постучи Нелькъ, скажи чтобъ поскоръе. Да и самъ поторапливайся, я въдь тоже еще не умеръ.

Когда Зандеръ, съ какими-то странными движеніями пугливой предосторожности, притворилъ за собою дверь, я спросилъ Мика, въ чемъ дъло и куда это они всъ выходать. — Э, пустое, — отвътиль онъ, (онъ говориль уже тоже какъ-то странно, сквозь зубы). — просто послъ первыхъ понюшекъ портится желудокъ, но сейчасъ же проходить и ужъ больше до конца понюхона не дъйствуетъ. У васъ этого еще не можетъ быть, — какъ бы успокаивая, добавилъ онъ, прислушиваясь у двери. — Я думаю, что и кокаинъ-то на меня не подъйствуетъ, — вдругъ сказалъ я, совсымъ неожиданно для себя, и испытывая при этомъ отъ очищеннаго звука своего голоса такое удовольствіе и такой подъемъ, будто сказалъ что-то ужасно умное. Микъ нарочно перешелъ черезъ всю комнату, чтобы снисходительно похлопать меня по плечу. — Это вы можете разсказать вашей бабушкь, — сказаль онъ. И улыбнувшись

мнъ нехорошей улыбкой, снова пошелъ къ двери, отворилъ и вышелъ.

4

Теперь въ комнать никого нътъ, и я подхожу и сажусь у камина. Я сажусь у черной и ръшетчатой дыры камина и совершаю внутри себя работу, которую дълалъ бы всякій на моемъ мъсть и въ моемъ положеніи: я напрягаю свое сознаніе, заставляя его наблюдать за измъненіями въмоихъ ощущеніяхъ. Это самозащита: она необходима для возстановленія плотины между внутренней ощущаемостью и ея наружнымъ проявленіемъ.

Микъ, Нелли и Зандеръ возвращаются въ комнату. Я развертываю на ручкъ кресла свой порошокъ, прошу у Мика зубочистку, внюхиваю еще двъ понюшки. Дълаю я это, конечно, не для себя, а для нихъ. Бумажка хруститъ, кокаинъ на каждомъ хрустъ подпрыгиваетъ, но я продълываю все и ничего не просыпаю. Легкій, радостный налетъ, который я при этомъ чувствую, я воспринимаю, какъ слъдствіе моей ловкости.

Я разваливаюсь въ креслъ. Мнъ хорошо. Внутри меня наблюдающій лучъ внимательно свътить въ мои ощущенія. Я жду въ нихъ взрыва, жду молній, какъ слъдствіе принятаго наркоза, но чьмъ дальше, тьмъ больше убъждаюсь, что никакого взрыва, никакихъ молній нътъ и не будетъ. Кокаинъ значитъ и вправду на меня не дъйствуетъ. И отъ сознанія безсилія передо мною такого шибкаго яда, радость моя, а вмъстъ съ ней сознаніе исключительности моей личности, все больше кръпнетъ и растетъ.

Въ глубинъ комнаты Зандеръ и Нелли сидятъ за ломбернымъ столомъ, бросаютъ другъ другу карты. Вотъ Микъ хлопаетъ по карманамъ, находитъ спички, зажигаетъ въ высокомъ подсвъчникъ свъчу. Любовно я смотрю, съ какой бережнстью онъ закругленной ладонью закрываетъ свъчу, несетъ ея пламя на своемъ лицъ.

А мив становится все лучше, все радостиве. Я уже

чувствую, какъ радость моя своей нежной головкой вползаеть въ мое горло, щекочеть его. Отъ радости (я слегка задыхаюсь) мне становится невмоготу, я уже долженъ отплеснуть отъ нея хотя немножко, и мне ужасно хочется что-нибудь поразсказать этимъ маленькимъ беднымъ люлишкамъ.

Это ничего, что всв шикають, машуть руками, требують, чтобы я (какъ было еще раньше строжайше между всвми обусловлено) молчаль. Это ничего, потому что я на нихъ не въ обидв. На мигъ, только на коротенькій мигъ я испытываю какъ бы ожиданіе чувства обиды. Но и это ожиданіе обиды, какъ и удивленіе тому, что никакой обиды не чувствую, — все это уже не переживанія, а какъ бы теоретичскіе выводы о томъ, какъ мои чувства должны были бы на такія событія отвъчать. Радость во мнъ уже настолько сильна, что проходитъ неповрежденной сквозь всякое оскорбленіе: какъ облако, ее нельзя поцарапать даже самымъ острымъ ножемъ.

Микъ беретъ аккордъ. Я дергаюсь. Только теперь я ловлю себя на томъ, какъ напряжено мое твло. Въ креслв я сижу, не откинувшись, и желудочные мускулы непріятно напряжены. Я опускаюсь на спинку кресла, но это не помогаетъ. Мышцы распускаются. Помимо воли я сижу въ этомъ удобномъ мягкомъ креслв въ такой натянутой напряженности, будто вотъ-вотъ оно должно подо мной подломиться и рухнуть.

На піанино свіча горить надъ Микомъ. Языкъ пламени колышется, — и въ обратномъ направленіи у Мика подъносомъ качается усатая тінь. Микъ еще разъ береть аккордъ, потомъ повторяеть его совсімъ тихо: мні кажется, онъ уплываеть вмісті съ комнатой.

А ну, теперь скажи, что такое музыка, — шепчуть мои губы. Подъ горломъ вся радость собирается въ истерическій, прыгающій комокъ. — Музыка — это есть одновременное звуковое изображеніе чувства движенія и движенія чувства. — Мои губы безчисленное количество разъ по-

вторяють, вышептывають эти слова. Я все больше, все глубже вступаю въ ихъ смыслъ и изнываю отъ восторга.

Я пытаюсь вздохнуть, но настолько шибко весь я натянуть, весь напряжень, что, потянувь въ себя воздухъ глубже — вдыхаю и выдыхаю его коротеньками рывками. Я хочу снять съ ручки кресла порошокъ и понюхать, но хотя я натуживаю всю силу воли и приказываю рукамъ двигаться быстро, руки не слушаются, движутся туго, медленно, въ какой-то пугливой окаменълости сдерживаемые боязнью разбить, разсыпать, опрокинуть.

Уже долго я сижу, съ ногой на ногу, слегка на одномъ боку. И нога и бокъ, на которыхъ я сижу всей тяжестью, устали, мурашечно затекли, желаютъ смѣны. Я натуживаю свою волю, хочу сдвинуться, повернуться, сѣсть иначе, сѣсть на другой бокъ, но тѣло пугливо, мерэло, сковано, словно и ему достаточно только сдвинуться и все загрохочетъ, упадетъ. Желаніе разорвать, нарушить эту пугливую окаменѣлость, и одновременная неспособность это сдѣлать рождаютъ во мнѣ раздраженіе. Но и раздраженіе это безмолвное, глубоко нутряное, ничѣмъ неразрядимое и потому все растущее.

— А Вадимъ-то нашъ уже совсъмъ занюханъ. — Это говоритъ Микъ. Потомъ проходитъ какой-то промежутокъ времени, въ теченіе котораго, я знаю, всѣ на меня смотрятъ. Я сижу окаменъло ,не поворачивая головы. Въ шеѣ у меня все то же чувство: если поверну голову, такъ опрокину комнату. — И вовсе онъ не занюханъ. Просто у него реакція и ему надо дать скоръй понюшку. — Это говоритъ Нелли.

Микъ приближается. Я слышу, какъ надъ моимъ ухомъ онъ разворачиваетъ порошокъ, но я не смотрю туда. Я отворачиваю, опускаю глаза, дълаю все — только бы онъ ихъ не видълъ. Я боюсь показать свои глаза. Это новое чувство. Въ этой боязни показать глаза не стыдливость, не застънчивость, нътъ, —это боязнь униженія, позора и еще чего-то совсъмъ ужаснаго, что въ нихъ сейчасъ от-

крыто. Я чувствую зубочистку у ноздри и тяну. Потомъ еще разъ.

Я хочу сказать спасибо, но голосъ застрялъ. — Благодарю васъ, — говорю я, наконецъ, но до того, какъ сказать эти слова, кръпко кашляю, кашлемъ достаю голосъ. Но это не мой голосъ. Это что-то глухое, радостно трудное, сквозь сжатые зубы.

Микъ все еще стоитъ подлъ. — Быть можетъ, вамъ что-нибудь нужно, — спрашиваетъ онъ. Я киваю головой, чувствую, что движенія уже легче, развязаннъе. Глухого раздраженія уже нътъ, есть свъжій налетъ радости.

Микъ беретъ меня за руку, я встаю, иду. Сперва это немного трудно. Въ ногахъ у меня боязнь поскользнуться, опрокинуться, какъ у очень иззябшаго человъка, ступившаго на скользкій ледъ. Въ корридоръ меня сразу шибко зазнобило.

По дорогъ въ уборную въ корридоръ сильный запахъ капусты и еще чего-то съъдобнаго. При воспоминаніи о ъдъ я испытываю отвращеніе, но отвращеніе это особоє. Меня воротить отъ ъды, не отъ сытости, а отъ душевной потрясенности. Мое горло кажется мнъ такимъ стянуымъ и нъжнымъ, что даже маленькій кусокъ пищи долженъ застрять въ немъ или порвать его.

На піанино у Мика стоитъ стаканъ воды. — Выпейте, — говоритъ онъ тоже сквозь зубы и тоже прячетъ глаза, — будетъ еще лучше. Я натуживаюсь, я хочу быстроты, но рука моя медленно - медленно и какъ-то пугливо округло тянется къ стакану. Языкъ и небо такъ черствы и сухи, что вода совсъмъ ихъ не мочитъ, только холодитъ. Въ моментъ глотка я и къ водъ чувствую отвращеніе, пью, какъ лъкарство. — Само лучшее это черное кофе, говоритъ Микъ, — но его нътъ. Курите, это тоже хорошо. — Я закуриваю.

Каждый разъ, когда я подношу папиросу къ губамъ, я ловлю свои губы въ безпрестанномъ, сосущемъ движенів. Имъ, этимъ сосущимъ движеніемъ, выбрасывается непереносимый излишекъ моего наслажденія. Я знаю, что при

необходимости могъ бы сдержаться, но это было бы такъ же неестественно, какъ во время быстраго бъга держать руки по швамъ.

Отъ воды-ли, отъ папиросы, или отъ новыхъ понюшекъ уже кончающагося кокаина, но я чувствую, что мое боязливое, оледенълое и расшатанно двигающееся, какъ бы чего не опрокинуть и не повалить, тъло, — что иззябшія ноги, нащупывающія полъ словно по льду, — что все мое странное, похожее на бользнь, состояніе, — что все это только жалкая оболочка, въ которую влито тихо буйствующее ликованіе.

Я иду къ столу. Пока я дълаю шагъ, пока сгибаю въ колънъ и снова въ тугой боязни ставлю ногу, мнъ мое движеніе кажется столь мучающе длительнымъ, будто оно никогда не закончится. Но когда шагъ уже сдъланъ, когда движеніе уже закончено, то оно, — это свершившееся движеніе, кажется мнъ въ моемъ воспоминаніи столь призрачно мгновеннымъ, словно ни его, ни сопровождавшихъ его усилій, совсъмъ и не было. И я уже знаю: въ этой мучающей длинности свершаемаго, и въ этомъ призрачномъ пропаданіи уже свершившагося, — въ этой больной двойственности проходитъ вся эта ночь.

Долгимъ и некончающимся кажется мнѣ это одъваніе, это дрожащее влъзаніе въ рукава моей шинели, послѣ того какъ я, срывающимся отъ ликованія голосомъ, предлагаю Мику поъхать вмѣстѣ ко мнѣ домой, взять тамъ цѣнную вещь и вымѣнять на новые порошки. Но вотъ уже шубы одѣты, и мы въ корридорѣ и будто и не было этихъ трудныхъ усилій, затраченныхъ на одѣваніе. Долгимъ и мучающе некончающимся кажется это гибельное схожденіе съ лѣстницы, словно покрытой скользкимъ льдомъ, на которой ноги мои едва сдерживаются, чгобы не поскользнуться, и въ то же время дергающе торопятся, будто позади ихъ грозится укусить собака. Но вотъ мы уже внизу, и будто и не было ни этихъ усилій, мучающихъ и дрожащихъ, ни этой лѣстницы, — словно мы изъ комнаты

прямикомъ вышли на улицу. Долгими и некончающимися кажутся и эта взда по пустому, визжащему отъ мороза городу, и этотъ ломающій спину ознобъ, и эти лохмотья пара, и эта золотая проволока фонарей, мокро вьющаяся въ слезящихся глазахъ и отпрыгивающая, когда моргаю. Но воть мы уже у вороть и будто ничего этого и не было, словно изъ комнаты Хирге я прямикомъ вошелъ въ эти ворота. Долгимъ и некончающимся кажется мнв это дрожаніе въ морозь передъ сверкающей зеленой луной дверью. пока вспыхиваеть за нею желтый свыть съ сонно чухающимся Матвъемъ, это восхождение по лъстницъ, это отмыканіе квартиры, это прокрадываніе по черной передней и столовой въ тихую спальню матери, и это сладостное дрожаніе при этомъ любви къ матери, такой любви, такой любви, какой никогда и не зналъ и не чувствовалъ, и въ такой радости, въ такомъ обожаніи, будто и крадусь-то я только за тімъ, чтобы сділать ей, — мамі, что-то доброе, хорошее, спасительное. Безконечнымъ кажется это подкрадываніе къ зеркальному бъльевому шкапу, который, чтобы онъ не скрипълъ, я раскрываю не медленно, не осторожно (отъ этого онъ скрипить еще больше), - а рывкомъ, сразу, такъ что въ распахнутую зеркальную дверду влетаетъ спящая голова матери подъ лампадой и потомъ качается. Безконечнымъ, мучающимъ, некончающимся, а подъ конецъ призрачнымъ и словно небывшимъ кажется все: и поиски въ бъльъ съ запахомъ дешевой карамели, и нахожденіе броши, и возвращеніе обратно по лістниць, которая опять изъ скользкаго льда, и сзади угроза собаки, и прохожденіе мимо Матвья, который будто нарочно старается заглянуть въ мои страшные глаза, и странно трудное шаганіе по длинному заснъженному двору (я только у саней замъчаю, что все еще иду на цыпочкахъ), и влъзаніе въ сани въ дрожащей пугливости, что они дернутъ, и я сяду мимо, и возвращение обратно сюда, въ эту нагрътую тишину комнаты.

Въ затылкъ у меня чувство закованной сжатости. Глаза моргающе напряжены, какъ при быстрой ходьбъ въ

темнотъ, когда мучаетъ ожиданіе наткнуться на что-то острое. Ни частое морганіе, ни ясная видимость предметовъ, не облегчаютъ. Я закрываю глаза, но ихъ напряженность перенимаютъ въки: они ноютъ, словно ждутъ удара.

Я стою у стола. Чъмъ дольше я стою, тъмъ шибче каменъю, тъмъ труднъе мнъ сдернуть себя съ мъста. Въ эту кокаинную ночь все мое тъло то каменъетъ въ неподвижности, и мнъ трудно сдернуться, то устремляется къ дергающемуся движенію, и тогда мнъ трудно остановиться: по улицъ съ Микомъ трудны были только первые шаги, но потомъ все во мнъ дергающе заходило, ноги зашагали электрически, и безумно, безумно росло глухое раздраженіе, когда впреди случался прохожій; обойти боюсь, то-ли опрокину прохожаго, то-ли задъну за домъ и опрокинусь самъ, — а пріутишить шаги не въ моей власти.

Вотъ въ комнату входитъ Микъ. Въ рукахъ у него новые порошки кокаина, и онъ странными движеніями прикрываетъ дверь, точно она можетъ на него свалиться. Верхняя лампа потушена. Въ комнатъ почти мракъ. Въ осеннемъ качающемъ свъть свъчи, между портьерой и шкапомъ втиснулись Нелли и Зандеръ. Ихъ головы на вытянутыхъ, вслушивающихся шеяхъ. У Нелли шея, ея голова вытянута вбокъ, и кажется какъ разъ съ этой стороны движутся на насъ грозные шорохи ночной квартиры. Глаза безумно стоять. Въ комнать все останавливается, у всъхъ движутся только губы. — Тиштиштиштиш, — быстрымъ, сливающимся шопотомъ высвистываетъ Нелли. — Кто-то идетъ, — шепчетъ Зандеръ, — кто то идетъ сюда, -- шопотомъ выкрикиваетъ онъ и голова его безостановочно трясется. И я уже зараженъ. Я уже тоже боюсь. Я уже тоже не могу вообразить ничего болье страшнаго, какъ именно то, что сюда, въ эту тихую, темную комнату придетъ шумный, бодрый и дневной человъкъ и увидить наши глаза и всъхъ насъ въ этакомъ состояніи. И я чувствую: достаточно сейчасъ выстрылить, произительно закричать или дико залаять — и нъжная ниточка, на которой держится мой тихо бушующій мозгъ. — порвется.

Сейчасъ, въ этой ночной тишинъ, я особенно боюсь за эту ниточку.

Я сижу въ креслъ. Голова моя такъ напряжена, что мнъ кажется, будто она колышется. Мое тъло захолодало, застыло, словно отпало отъ головы: чтобы почувствовать ногу или руку, я долженъ двинуть ими.

Вокругъ меня люди. Много, очень много людей. Но это не галлюцинація: я вижу этихъ людей не внъ, а внутри себя. Здъсь студенты, учащіяся женщины и другіе, но все какіе-то странные: кривые, косые, безносые, волосатые, бородатые. - Акъ, профессоръ, - восторженно кричитъ курсистка (профессоръ это я) — ахъ, профессоръ, пожалуйста, сегодня о спорть. Она объ одномъ глазу и протягиваетъ мнъ издали руки. Кривые, косые, бородатые, волосатые, все такіе, которымъ нельзя и страшно раздіться, — вопять: — да, профессоръ, да, о спортв — да, спортъ — дайте опредъленіе, что такое спортъ. Я небрежно улыбаюсь и кривые, косые, бородатые, волосатые круто стихають. — Спорть, господа, это есть затрата физической энергіи въ непремънныхъ условіяхъ взаимнаго соревнованія и совершенной непроизводительности. Безрукіе, кривые, косые дико орутъ — «дальше» — «еще-еще» - «дальше». Ученая женщина объ одномъ глазу локтями бьетъ по мордамъ, приговариваетъ — простите, коллега, и продирается къ моей кафедръ. Я поднимаю руку. Тишина. — Для насъ, господа, — шепчу я, — важенъ не спортъ, не его сущность, а степень его воздъйствія, его вліяніе на общество, и даже, если угодно, на государство. Вотъ почему, въ ознаменование намъченной темы, позволь. те мив сказать ивсколько словь, относящихся не къ спорту, а къ спортсменамъ. Не думайте, что я имъю въ виду только спортсменовъ профессіоналовъ, такихъ, которые беруть деньги за свои выступленія и отъ этого Нътъ. Въдь важно не только отъ чего, но во имя чего живетъ человъкъ. Поэтому подъ спортсменами, о которыхъ я говорю, я разумью рышительно вськъ намъ извъстныхъ, независимо отъ того, является-ли для нихъ спортъ профессіей или призваніемъ, средствомъ къ существованію или цълью ихъ жизни. Достаточно только обратить внимание на все растущую популярность такихъ спортсменовъ, чтобы признать, что уже не просто успъхъ, а уже истинное обожаніе этихъ людей захватываеть все большіе круги общества. Объ этихъ людяхъ пишутъ газеты, ихъ лица фотографируются, — (при чемъ здъсь лицо), — появляются въ журналахъ, и, кажется, уже очень немногаго недостаеть чтобы люди эти стали національною гордостью. Можно еще понять, если нація гордится своими Бетховенами, Вольтерами, Толстыми — (хоть и то, причемъ эдъсь нація), — но чтобы нація гордилась тімъ, что ляжки у Ивана Цыбулькина здоровъе, чъмъ у Ганса Мюллера, -- не кажетсяли вамъ, господа, что подобная гордость свидътельствуетъ не столько о силъ и здоровьи Цыбулькина, сколько о немощи и бользни націи. Въдь если Иванъ Цыбулькиъ имъетъ усивхъ, — то ясно, что каждый, кто этому Ивану съ такимъ подозрительнымъ обожаніемъ апплодируетъ, уже одними своими клопками всенародно заявляетъ свою восторженную готовность помъняться своей жизненной ролью съ тъмъ, къ кому относятся его апплодисменты, и чьмъ больше такихъ апплодирующихъ людей, тымъ ближе ведеть все это къ повороту въ общественномъ мивніи, и тымь самымь во всей націи, которая выбереть своимь идеаломъ и захочетъ стать Иваномъ Цыбулькинымъ, единственной и общепризнанной заслугой котораго будутъ его ужасно здоровыя ляжки.

Безчисленное множество разъ шепчу я эти слова. И мнъ хочется сдержать эту ночь, мнъ такъ хорошо и такъ ясно во мнъ, я такъ непомърно влюбленъ въ эту жизнь, мнъ хочется все замедлить, долго откусывать обожание аждой секунды, но ужъ ничто не останавливается, и вся эта ночь неудержимо и быстро уходитъ.

Сквозь щели портьеръ я вижу разсвътъ. Подъ глазами и въ скулахъ пустота и тяжесть. Все какъ-то грузно останавливается вокругъ меня и во мнъ. Въ носу все жадно раскрыто, тоскующе пусто до самаго горла, и дыханіе больно царапаетъ — не то воздухъ слишкомъ жестокъ, не то внутренность носа стала слишкомъ нъжна. Я пытаюсь отогнать эту все тяжче наваливающуюся на меня тоску, я пытаюсь вернуть мои мысли, мои восторги и восторги бородатыхъ слушателей, но въ памяти моей возникаетъ вся эта ночь, и мнъ дълается такъ стыдно, такъ срамно, что впервые правдиво и искренно я чувствую, что не хочу больше жить.

На столь, гдь разбросаны игральныя карты, я начинаю искать пакеть съ коканномъ. Всв карты лежать рубашками вверхъ. Осторожно я раздвигаю ихъ, опрокидываю одну, начинаю разбрасывать, наконецъ, безсмысленно рвать, отъ отсутствія кокаина испытывая все ужасъ отъ этой страшной тоски. Но кокаина, конечно, нътъ. Его унесли Микъ и Зандеръ. Въ комнать никого нътъ. Я не сажусь, я падаю на диванъ. Пригнутый я страшно дышу, — вдыхая, поднимаюсь, выдыхая опадаю, словно этимъ вонзающимся столбомъ воздуха могу остудить огонь отчаянія. И только хитрый бъсенокъ въ дальнемъ и глубокомъ тайничкъ моего сознанія тотъ самый, который продолжаеть свытить и не тухнеть даже при самомъ страшномъ ураганъ чувствъ — только этотъ хитрый бъсенокъ говоритъ мив о томъ, что надо смириться, что не надо думать о кокаинъ, что думая о немъ и въ особенности о возможности его наличія здъсь въ комнать, я еще только больше раздразниваю, только еще ужасные мучаю себя.

Въ страшной, въ никогда еще небывалой тоскъ, я закрываю глаза. И медленно и плавно комната начинаетъ поворачиваться и падать однимъ угломъ. Уголъ опускется глубже, проползаетъ подо мной, лъзетъ позади меня вверхъ, появляется надо мной и снова, но уже стремительно падаетъ. Я раскрываю глаза, комната вонзается на мъсто, сохранивъ свое круженіе въ моей головъ. Шея не держитъ, голова моя обваливается на грудь, повертываетъ комнату вверхъ ногами. — Что они сдълали, что они сдълали со мной, — шепчу я и потомъ, безсмысленно помолчавъ, еще говорю: — что жъ, я пропалъ. Но уже хитрый бъсе-

мокъ, тотъ самый, который — (если только къ нему прислушаться) — даже самыя радостныя чувства отравляетъ сомнъніемъ, — а самое ужасное отчаяніе облегчаетъ надеждой, — этотъ хитрый, ни во что не върящій бъсенокъ мнъ говорилъ: — всъ твои слова это театръ, все это только театръ; пропасть ты не пропалъ, а ежели тебъ худо, такъ одъвайся и иди на воздухъ; здъсь тебъ сидъть нечего.

5.

На улицъ было еще сумеречно. Небо, грязно малиновое, висьло низко. Меня обогналь трамвай, — сквозь его заснъженныя стекла расплющенными апельсинами просвычивало горъвшее въ вагонъ электричство. Позади трамвая опавшая сътка бороздила и бълой струей снъга била верхъ. Мыв представилось, какъ въ вагонь, звонко потрескивающемъ отъ мороза, гдв кисло пахнетъ мокрымъ сукномъ, тесно сидятъ и стоятъ люди и опыхиваютъ другъ друга густыми парами своего утренняго, гнилью пахнущаго дыханія. Впереди меня шелъ старикъ съ палкой. Онъ часто останавливался, подпирался палкой въ животъ и подолгу и хрипло харкалъ. Глаза его, когда онъ останавливлся и кашляль, смотрыли на сныгь такъ, словно видыли гамъ начто ужасное. И каждый разъ, когда онъ выхаркиваль зеленое. — мое горло дълало глотокъ, и мив представлялось, что глотаю я то самое, что онъ сплевываеть. Никогда не думалось мив, что человыкь, что всв люди могли бы внушать такое непомърное отвращение, какъ я это чувствоваль въ это утро.

На углу вътеръ трепыхалъ афишей на театральномъ столбъ. Когда я вошелъ въ его полосу, то мимо гремъвшаго цъпями грузовика — черезъ улицу перебъжала дъвочка. На другой сторонъ тротуара мать видимо закаменъла
въ страхъ, но когда ребенокъ невредимо добъжалъ до нея,
то она больно схватила его за руку и тутъ же побила. Сдълавъ глаза щелками и ротъ четыреугольникомъ — ребевокъ ревълъ. Все было ясно: мать скверно мститъ своему

ребенку за тотъ страхъ, который она по его винъ перечувствовала. Но если таково то лучшее, чъмъ хвастается человъкъ, — мать, то каковы же остальные люди.

На улицъ посвътлъло и уже стало утро, когда я вошелъ къ себъ во дворъ. На доржкъ былъ свъже посыпанъ яркій желтый песочекъ, на которомъ чьи-то новыя калоши вдавили оспенные слъды. Садикъ для господъ былъ запущенъ и грязенъ. Отъ сброшеннаго туда со всего двора снъга онъ приподнялся надъ дворомъ и въ немъ укоротились деревья. Въ снъгу этомъ безпорядочно лежали мокрыя черныя доски и только съ трудомъ можно было признать въ нихъ, затонувшія въ сугробахъ, сидънья скамеекъ.

Матвъй чистиль мъломъ дверную ручку, свободной рукой дергая совершенно такъ же, какъ и той, что совершалъработу, но когда я приблизился, — зазвонилъ телефонъ, и онъ сбъжалъ въ будку. Я поднялся по лъстницъ и отперъ дверь. Бросивъ фуражку на подставку висячаго зеркала, которое закачало объденный столъ съ неубраннымъ съ вечера самоваромъ, — стараясь ступать тише, я прошелъ по корридору и вошелъ къ себъ въ комнату.

Въ первое мгновеніе меня удивило, что у окна еще горить лампа, и я даже попытался припомнить — когда же я се забыль потушить. Но уже изъ кресла, руками тяжко опираясь на ручки, мнв навстрвчу поднялась моя мать. Глядя мнв пристально въ глаза, она медленно приближалась. Я посмотрвлъ въ ея глаза и сразу вокругь меня стало ужасно тихо. Въ кухнв, лопающимися струнами, капаль водопроводъ. — Воръ, — едва шевельнувъ губами на желтомъ личикв, сказала мать. Она сказала это страшное слово отчетливымъ шопотомъ и даже не зажмурилась, когда, — подчиняясь какой то внвшней необходимости двйствій, одновременно выполняя и ужасаясь ею, — я размахнулся и ударилъ ее по лицу. — Мой сынъ воръ, — спокойно и горестно, словно разсуждала сама съ собой, прошептала мать, и страшно тряся свдой своей головой и помедливъ,

точно ожидая, не ударю-ли я еще разъ, медленно съ жалко висящими плечами и руками, пошла къ двери.

Подъ каменнымъ подоконникомъ въ трубахъ отопленія что-то щелкало, шипъло, лилось. Оттуда шла душная теплота. На столь, не давая свъта, въ лампъ желто тлъла проволока. Носъ мой запухъ, не пропускалъ дыханія. А за окномъ сосъдній домъ началъ морщиться; его труба оторвалась и мокро расползалась въ металлическихъ небесахъ. Но я не старался сморгнуть заливавшія глаза слезы.

6.

Черезъ полчаса я подходилъ къ дому, гдѣ жилъ Ягъ. У подъвзда стоялъ извозчикъ, нагруженный чемоданами. Рядомъ, одвтый по дорожному, суетился Ягъ со своей «испанкой». Завидя меня и путаясь въ огромной своей дохв, онъ подбвжалъ мнв навстрвчу и обнялъ меня. Въ двухъ словахъ я разсказалъ, что дома у меня случилась непріятность, что я, можно сказать, остался безъ крова, и Ягъ съ бодрой возбужденностью человвка, торопящагося въ отъвздъ, даже не давъ мнв досказать до конца, и восклицая, что это прекрасно, и даже, вотъ истинный Господь, очень даже кстати предложилъ мнв немедленно же поселиться въ его комнатъ.

Крвпко схвативъ мою руку, онъ потащилъ меня въ домъ, на ходу буркнулъ выносившей баулъ горничной, что всв три мвсяца, которые онъ пробудетъ въ Казани, въ его комнатъ буду жить я, — все также бъгомъ протащилъ меня по лъстниць и потомъ сквозь залу до своихъ дверей, вставилъ ключъ, съ сердитымъ видомъ сунулъ мнъ въ руку пачку денегъ, повторяя при этомъ ни-ни-ни, и еще разъ поспъшно обнявъ меня и извинившись, что боится опоздать на поъздъ, махнувъ рукой убъжалъ.

Оставщись одинъ и отперевъ дверь, я со страннымъ чувствомъ вошелъ въ свое новое жилище. Все произошло слишкомъ быстро и отъ безсонной ночи меня гадко мутило. Въ комнатъ былъ безпорядокъ, какая-то покинутость

и тоска отъвзда. На столь стояли грязныя тарелки, остатки ужина и куски хльба. Я отломиль кусочекь, но лишь только почувствоваль его во рту, какь туть же, не разжевавь, проглотиль, ощутивъ небывалую пустоту и дергающую воздушность въ скулахъ. Впервые узнавая, что значить голодъ посль кокаина, я сталь жадно всть, руками обрывая сальное мясо, — обморочно дрожа рукой и шеей, напихивая роть, проглатывая снова, набиваль, испытывая желаніе рычать и въ то же время чувствуя нервный хохотокъ надъ этимъ желаніемъ. А когда съввъ все и сразу сонно отяжельвъ, хотя могь еще съвсть много, доплелся до дивана и легь, то тотчась въ протянутыхъ ногахъ чтото мягко, недвижно задергало. И приснилось мнь, какъ моя бъдная старая мать, въ рваной шубенкъ шагаетъ по городу и мутными и страшными глазами ищетъ меня.

мысли

1.

Выспавшись, я уже на следующее утро снова поехаль къ Хирге, купилъ у него полтора грамма кокаина, и такъ это пошло дальше, — изо дня въ день. Но невольно, лишь только записалъ я сейчасъ все эти слова, какъ тотчасъ, съ чрезвычаной явственностью, мне представилась презрительная улыбка на лице того, въ чьи руки попадутъ эти мои печальныя записки.

Въ самомъ дълъ, я чувствую, что эти самыя слова, или, върнъе, мои поступки, которые должны характеризовать силу кокаина, — для каждаго нормальнаго человъка, съ гораздо большей въроятностью, будутъ характеризовать только мою собственную слабость, и, такимъ
образомъ, ужъ непремънно возбудятъ отчужденіе; обидное, презрительное отчужденіе, возникающее даже въ самомъ чуткомъ клушателъ, лишь только онъ начинаетъ сознавать, что то самое стеченіе обстоятельствъ, которое погубило жизнь разсказчика, ни въ какой мъръ (случись съ
нимъ, со слушателемъ, нъчто подобное) не могло бы испортить или измънить его собственную жизнь.

Все это я говорю, всходя изъ того, что точно такое же презрительное отчуждение почувствоваль бы я самъ, не случись со мной этой первой кокаинной пробы, и что только теперь, вступивъ на дорогу моей гибели, я знаю, что подобное преэръние возникло бы во мнъ не столько вслъдствие возвеличения мною моей личности, сколько по

причинъ недооцънки силы кокаина. Итакъ — сила кокаина. Но въ чемъ, въ чемъ же выражается эта сила?

2.

За долгія ночи и долгіе дни подъ кокаиномъ въ ягиной комнать, мнъ пришла мысль о томъ, что для человька важны не событія въ окружающей его жизни, а лишь отражаемость этихъ событій въ его сознанія. Пусть событія измѣнились, но, посколько ихъ измѣненіе не отразилось въ сознаніи, такая ихъ перемѣна есть нуль, — совершенньшее ничто. Такъ, напримѣръ, человькъ, отражая въ себъ событіе своего обогащенія, продолжаетъ чувствовать себя богачемъ, есди онъ еще не знаетъ, что банкъ, хранящій его капиталы, уже лопнулъ. Такъ, человькъ, отражая въ себъ жизнь своего ребенка, продолжаетъ быть отцемъ, разъ до него не дошла еще въсть, что ребенокъ задавленъ и уже умеръ. Человькъ живетъ, такимъ образомъ, не событіями внъшняго міра, а лишь отражаемостью этихъ событій въ своемъ сознаніи.

Вся жизнь человъка, вся его работа, его поступки, воля, физическая и мозговая силы, все это напрягается и тратится безъ счета и безъ мъры только на то, чтобы свершить во внъшнемъ міръ нъкое событіе, но не ради этого событія какъ такового, а единственно для того, чтобы ощутить отраженіе этого событія въ своемъ сознаніи. И если ко всему этому добавить еще, что въ этихъ стремленіяхъ человъкъ добивается свершенія лишь такихъ событій, которыя, будучи отражены въ его сознаніи, вызовуть въ немъ ощущеніе радости и счастья, — то непосредственно обнажается весь механизмъ, двигающій въ жизни ръшительно каждымъ человъкомъ, совершенно независимо отъ того — дуренъ и жестокъ, или хорошъ и добръ этотъ человъкъ.

Иначе говоря, если одинъ человъкъ стремится свергнуть царское, а другой революціонное правительство, если одинъ желаеть обогащаться, а другой раздать свом богатства бъднымъ, то всъ эти противоръчивыя устремленія свидътельствують лишь о разнообразіи рода человъческой дъятельности, который въ лучшемъ случать (да и то не всегда) могь бы служить въ видъ характеристики каждой личности въ отдъльности; причина-же человъческой дъятельности, какъ бы эта дъятельность ни была разнообразна, всегда одинакова: потребность свершенія во внъшнемъ міръ такихъ событій, которыя, будучи отражены въ сознаніи, вызовутъ ощущеніе счастья.

Такъ было и въ моей маленькой жизни. Дорога ко

Такъ было и въ моей маленькой жизни. Дорога ко внъшнему событію была намѣчена: я желалъ стать знаменитымъ адвокатомъ и богачемъ. Казалось, мнѣ бы оставалось только идти и идти по этой дорогѣ, тѣмъ болѣе, что многое (какъ я себя въ этомъ уговаривалъ) весьма благопріятствовало мнѣ. Но странно. Чѣмъ дольше я пробивался по пути къ завѣтной цѣли, тѣмъ чаще случалось такъ, что въ темной комнатѣ я ложился на диванъ, и сразу воображалъ себя всѣмъ тѣмъ, чѣмъ желалъ стать, инстинктомъ лѣни и мечтательности познавая, что осуществленіе всѣхъ этихъ внѣшнихъ событій не стоитъ такого громадного количества времени и труда, не стоитъ хотя-бы уже потому, что ощущеніе счастья было бы тѣмъ сильнѣе, чѣмъ быстрѣе и неожиданнѣе свершились бы вызывающія его событія.

Но такова была уже сила привычки, что даже въ мечтахъ о счастьи, я прежде всего думалъ не объ ощущеніи счастья, а о такомъ событіи, которое (свершись оно), вызоветь во мнѣ это ощущеніе, не будучи въ силахъ отдѣлить эти два элемента другъ отъ друга. Даже въ мечтахъ я принужденъ былъ прежде всего вообразить себѣ какоенибудь замѣчательное событіе въ моей будущей жизни, и лишь затѣмъ, картиной этого событія, получалъ возможность радостно будоражить въ себѣ ощущеніе счастья.

Все дъло заключалось въ томъ, что до моего знакомства съ кокаиномъ я ошибочно полагалъ, будто счастье это есть нъчто цълое, между тъмъ, какъ на самомъ-то дъль всякое человъческое счастье состоитъ изъ хигръй-

шаго сліянія двухъ элементовъ: изъ 1) физическаго ощущенія счастья и 2) того внъшняго событія, которое является психическимъ возбудителемъ этого ощущенія.

И только тогда, когда я впервые испробоваль кокаинъ, мнъ стало ясно. Мнъ стало ясно, что то внъшнее событіе, о достиженіи котораго я мечтаю, ради свершенія котораго тружусь, трачу всю мою жизнь, и, въ концъ концовь, быть-можеть, его не достигну, — это событіе необходимо мнъ лишь постольку,поскольку оно, отражаясь въ моемъ сознаніи, возбудить во мнъ от ущеніе счастья. И если,
какъ я въ этомъ убъдился, крохотная щепотка кокаина могуче и въ единый мигъ возбуждаеть въ моемъ организмъ
это от ущеніе счастья въ никогда неиспытанной раньше огромности, то тъмъ самымъ совершенно отпадаеть необходимость въ какомъ бы то ни было событія, и слъдовательно
безсмысленными становятся трудъ, усилія и время, которые, для осуществленія этого событія, нужно было бы затратить.

Вотъ эта-то способность кокаина возбуждать физическое ощущение счастья внв всякой психической зависимости отъ окружающихъ меня внвшнихъ событий даже тогда, когда отражаемость этихъ событий въ моемъ сознани должна была бы вызывать тоску, отчаяние и горе, — вотъ это-то свойство кокаина и было той страшной притягательной силой, бороться и противостоять которой я не только не могъ, но и не хотвлъ.

Бороться и противостоять кокаину я могь бы только въ одномъ случав: если бы ощущение счастья возбуждалось бы во мнв не столько свершениемъ внвшняго события, сколько той работой, твми усилиями, твмъ трудомъ, которые, для достижения этого события, следовало затратить. Но этого въ моей жизни не было.

3.

Само собою разумвется, что все вышесказанное о ко-каинв нужно понимать отнюдь не какъ мивніе о немъ во-

обще, а лишь какъ мивніе объ этомъ ядв такого человівка, который только-только началь нюхать. Такому человівку и въ самомъ дівлів кажется, что основное свойство кокаина — это есть способность возбуждать ощущеніе счастья; — такъ непойманная мышь увіврена, что основное свойство мышеловки это тоть кусокъ сала, который ей хочется събсть.

Самымъ ужаснымъ и неизмънно слъдующимъ послъ многочасового дъйствія кокаина явленіемъ — была та мучительная, неотвратимая и страшная реакція (или, какъ медики ее называютъ, депрессія), которая овладъвала мною тотчасъ, лишь только кончался послъдній порошокъ кокаина. Реакція эта продолжалась долго, на часахъ длилась примърно въ теченіе трехъ, иногда четырехъ часовъ, и выражалась въ такой мрачной, въ такой смертной тоскъ, что хот ъразумъ и зналъ, что черезъ нъсколько часовъ все это пройдетъ и вывътрится, но чувство въ это не върило.

Извъстно, что чъмъ сильные чувство, овладъвающее человъкомъ, тъмъ слабъе способность самонаблюденія. Пока я находился подъ дъйствіемъ кокаина, чувства, возбуждаемыя имъ, были настолько могущественны и сильны, что моя способность наблюденія за собой ослабъвала по степени, какъ это возможно наблюдать только у нъкоторыхъ душевнобольныхъ. Такимъ образомъ чувства, владъвшія мною, пока я находился подъ кокаиномъ, уже не сдерживались ничьмъ и полностью, вплоть до идеальной искренности, вылъзали наружу, проявляясь и въ моихъ жестахъ, и въ моемъ лицъ, и въ моихъ поступкахъ. Подъ кокаиномъ до такихъ громадныхъ размъровъ вырастало мое чувствующее Я, что самонаблюдающее Я прекращало работу. Но лишь только кончался кокаинъ, какъ возникалъ ужасъ. Ужасъ этотъ заключался въ томъ, что я начиналъ вильть себя, видьть такимъ, каковъ я былъ подъ кокаивомъ. И вотъ наступали страшные часы. Тяжело опадало тъло, въ злобномъ отчаянии отъ невыразимой, неизвъстно откуда взявшейся, тоски ногти вразались въ ладони, а память, какъ въ тошнотъ, возвращала обратно все, и я

смотрълъ, не могъ не смотръть на эти видънія эловъщаго срама.

Вспоминалось до мельчайшихъ подробностей все. И мое замерзшее стояніе у двери этой тихой комнаты подъ кокаиномъ въ ночи, въ идіотической, но непобъдимой тревогь, что вотъ-вотъ кто-то идетъ, и войдетъ сюда, и увидитъ мои ужасные глаза. И, кажется, часами подкрадываніе мое къ темному, съ неопущенной шторой, ночному окну, сквозь которое, лишь только я отвернусь, кто-то страшно заглядываеть, хоть я и знаю, что окно это во второмъ этажъ. И тушение лампы, которая своимъ чрезмърно яркимъ свътомъ, словно звучаниемъ безпокоитъ, зоветъ сюда людей, и вотъ уже чудится мнв, что кто-то крадется по корридору къ моей тоненькой, хрупкой двери. И лежаніе на диванъ съ напрягшейся шеей и неопускающейся головой, словно отъ прикосновенія ея съ подушкой произойдеть грохоть, который подниметь весь домъ, между тъмъ, какъ измученные, ноющіе въ ожиданіи наткнуться на острое глаза произительно смотрять въ красную, въ трясущуюся тьму. И чирканье во тьмъ спички, которую иззябшая въ ознобъ и тугая рука такъ боязливо третъ о коробку, что та никакъ не зажигается, а когда наконецъ протяжно шипя вспыхиваетъ, то дико отпрыгиваетъ тъло, и спичка выпадаетъ на диванъ. И каждыя десять минутъ потребность новой понюшки, когда съ лежащей гдъ-то тутъ на диванъ, но невидимой во тьмъ бумажки похудъвшія за ночь руки трясясь соскабливають кокаинъ на тупую сторону стального пера, съ котораго, послъ того, какъ это перо (приподнимаемое во тьмъ дрожащей рукой), уже трясется у самой ноздри — ничего не втягивается и въ носъ не попадаеть, потому что перо отъ последняго раза намокло, коканнъ его облъпилъ, затвердълъ, пустилъ кислую ржавчину. И потомъ разсвътъ и все болъе отчетливая видимость предметовъ, нисколько не распускающая мышцъ, а напротивъ, еще большая скованность движеній и всего тала, тоскующаго по скрывавшей, точно одъяломъ прикрывающей его тьмъ — теперь, когда

и лицо и глаза подвергаютстя необходимости быть видимыми на этомъ бъломъ свъту. И безчеленные позывы мочи, когда становилось необходимымъ, преодолъвая пугливую скованность тала, туть же въ комната ходить на горшокъ, отъ производимаго будто на весь домъ чудовищнаго шума оскаливать сжимающіеся, замороженные зубы, въ липкомъ, въ непривычно остро пахнущемъ, въ эловонномъ поту, какъ на ледяную гору, дико трясясь отъ озноба, лъзть въ темнотъ на диванъ, подчасъ на грохнувшей пружинь испуганно застывая воткнутымъ кольномъ до следующаго позыва. А дальше утро, вылизывание ржаваго пера, сухой взлеть свъжей понюшки изъ новаго порошка, легкое головокружение и тошнота въ наслаждении, и ужасъ отъ перваго чужого шума проснувшихся мь людей. И, наконецъ, стукъ въ дверь, ръдкій, размъренный, настойчивый, — и мой кашель, сотрясающій влъзшее въ диванъ потное твло, необходимый, чтобъ выдернуть застрявшій голось, и дальше мой трепещущій отъ счаст:я (несмотря на ужасъ) голосъ сквозь зубы — кто тамъ, что нужно, кто тамъ — и снова стукъ, настойчивый, безотвътный, неумолимый, и вдругь, и вдругь мгновенное перемъщение этого стука, потому что за окномъ колятъ дрова.

Каждый разъ, лишь только кончался кокаинъ, возникали эти видънія, эти картинныя воспоминанія о томъ, какимъ я былъ, какъ выглядълъ и какъ себя странно велъ, и вмъстъ съ этими воспоминаніями все больше и больше росла увъренность, что очень и очень скоро, если не завтра, то черезъ мъсяцъ, если не черезъ мъсяцъ, такъ черезъ годъ — я кончу въ сумасшедшемъ домъ. Съ каждымъ разомъ я все увеличивалъ дозу, неръдко доводя ее уже до трехъ съ половиной граммъ, тянувшихъ дъйствіе наркоза въ теченіе, примърно, двадцати семи часовъ, но вся эта моя ненасытность съ одной, и желаніе отдалить ужасные часы реакціи съ другой стороны, дълали эти, возникавшія послъ кокаина, воспоминанія все болье и болье вловъщими. Увеличеніе ли дозы, расшатанный ли ядомъ организмъ, или и то, и другое вмъстъ было тому причиной, — но та вивпиня оболочка, которую выдвляло наружу мое кокаинное счастье, становилась все страшные и страшнъе. Какія-то странныя маніи овладъвали мною уже черевъ часъ послъ того, какъ я начиналъ нюхать. — иногда это была манія поисковъ, когда кончался коробокъ со спичками и я начиналъ искать ихъ, отодвигая мебель. опоражнивая ящики стола, при этомъ завъдомо зная, что никакихъ спичекъ въ комнатъ нътъ, и все же съ наслажденіемъ продолжая поиски въ теченіе многихъ часовъ безпрерывно, — иногда это была манія какой то мрачной боязни, ужасъ которой усугублялся тымъ, что я самъ не зналъ, чего или кого я боюсь, и тогда долгими часами, въ дикомъ страхъ, сидълъ я на корточкахъ у двери, внутренне раздираемый съ одной стороны невыносимой потребностью свъжей понюшки кокаина, который я оставилъ на диванъ, съ другой - страшной опасностью хотя на короткое мгновеніе оставить безъ присмотра охраняемую мною дверь. Иногда-же, а за последнее время это стало случаться часто, всв эти маніи овладъвали мною сразу, — тогда нервы доходили до последней возможности напряженія, — и вотъ однажды (это случилось глубокой ночью, когда въ домъ спали, и когда я, приложивъ ухо къ щели, сторожиль дверь), въ корридоръ вдругь что то гулко по ночному ухнуло, одновременно во мракъ моей комнаты возникъ протяжный вой, и только спустя мгновеніе я поняль, что вою-то это я самь, и что моя же рука зажимаетъ мнв ротъ.

4

Одинъ страшный вопросъ тяготълъ надо мною все это кокаинное время. Вопросъ этотъ былъ страшенъ, ибо отвътъ на него обозначалъ или тупикъ, или выходъ на дорогу ужаснъйшаго изъ міровоззрѣній. И міровоззрѣніе это состояло въ томъ, что оскорбляло то свѣтлое, нѣжное и чистое, котораго, искренне и въ спокойномъ состояніи,

не оскорблялъ даже самый послъдній негодяй: человъческую душу.

Толчекъ къ возникновенію этого вопроса, какъ это чаето бываетъ, начинался съ пустяковъ. Казалось бы и вправду, — ну что въ такой вещи особеннаго. Что особеннаго въ томъ фактѣ, что за время, пока дъйствуетъ кокаинъ — человъкъ испытываетъ высоко человъчныя, благородныя чувства (истеричную сердечность, ненормальную доброту и проч.), а какъ только кончается воздъйствіе кокаина, такъ тотчасъ человъкомъ овладъваютъ чувства звъриныя, низменныя (озлобленность, ярость, жестокость). Казалось бы, въдь ничего особеннаго въ такой смънъ чувствъ нъту, — а между тъмъ именно эта-то смъна чувствъ и наталкивала на роковой вопросъ.

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь то обстоятельство, что кокаинъ возбуждалъ во мнѣ лучшія, человѣчнѣйшія мои чувства — это я могъ истолковать наркотическимъ воздѣйствіемъ на меня кокаина. Но зато какъ объяснить другое. Какъ объяснить ту неотвратимость, съ которой (послѣ кокаина) вылѣзали изъ меня низменнѣйшія, звѣриныя чувства. Какъ объяснить такое вылѣзаніе, постоянство и непремѣнность котораго невольно наталкивало на мысль, что мои человѣчнѣйшія чувства словно ниточкой связаны съ моими звѣриными чувствами, и что предѣльное напряженіе и значить затраченность однихъ влечетъ и тянетъ за собою вылѣзаніе другихъ, подобно песочнымъ часамъ, гдѣ опустошеніе одного шара — предопредѣляетъ наполненіе другого.

И вотъ возникалъ вопросъ: есть ли и знаменуетъ ли собою такая смвна чувствъ — лишь особое свойство ко-каина, которое онъ моему организму навязываетъ, — или же такая реакція есть свойство моего организма, которое подъ двиствіемъ кокаина лишь болве наглядно проявляется.

Утвердительный отвътъ на первую часть вопроса — обозначалъ тупикъ. Утвердителным отвътъ на вторую часть вопроса — раскрывалъ выходъ на широченную до-

рогу. Ибо въдь очевидно, что приписывая такую острую реакцію чувствъ свойству моего организма (дъйствіемъ кокаина лишь болье ръзко проявляемому), я тъмъ самымъ принужденъ былъ признать, что и помимо кокаина, во всяческихъ другихъ положеніяхъ, — возбужденіе человычныйшихъ чувствъ моей души будетъ (въ видь реакціи) вытягивать вслыдь за собой позывы озвырынія.

Фигурально выражаясь, я себя спрашиваль: не есть ли душа человъческая нъчто вродъ качелей, которыя, получивъ толчекъ въ сторону человъчности, уже тъмъ самымъ подвергаются предрасположению откачнуться въ сторону звърства.

Я пробоваль подыскать какой нибудь жизненно простой и подтверждающій такое предположеніе приміврь, и, какъ мнів казалось, находиль его.

Вотъ добрый и впечатлительный юноша Ивановъ сидитъ въ театръ. Кругомъ темно. Идетъ третій актъ сентиментальной пьесы. Злодъи вотъ-вотъ уже торжествуютъ и потому, разумъется, на краю гибели. Добродътельные герои почти что гибнутъ и потому, какъ полагается, на порогъ къ счастью. Все близится къ благополучному и справедливому концу, котораго столь жаждетъ благородная душа Иванова и сердце его бъется жарко.

Въ немъ, въ Ивановъ, подъ возбудительнымъ вліяніемъ театральнаго дъйства, подъ вліяніемъ любви къ этимъ честнымъ, прекраснымъ и кротко принимающимъ страданія человъческимъ экземплярамъ, которыхъ онъ видитъ на сценъ и за счастье которыхъ безпокоится, — все больше и больше напрягается и усиливается хрустальное дрожаніе его благороднъйшихъ, его человъчнъйшихъ чувствъ. Ни мелкаго будничнаго расчета, ни похоти, ни злобы не чувствуетъ и не можетъ сейчасъ, въ эти блаженныя минуты, какъ ему кажется, почувствовать добрый юноша Ивановъ. Онъ сидитъ въ нерушимой тишинъ темнаго зрительнаго зала, онъ сидитъ съ пылающимъ лицомъ, онъ сидитъ и радостно чувствуетъ, какъ душа его сладко изнываетъ отъ страстной потребности сейчасъ-же, спо минуту, тутъже въ театръ радостно пожертвовать собой во имя наивысшихъ человъческихъ идеаловъ.

Но вотъ, въ этой напряженной, въ этой насыщенной дрожаніемъ человіческихъ переживаній театральной темнотъ — сосъдъ Иванова начинаетъ вдругъ громко и по собачьему кашлять. Ивановъ сидитъ рядомъ, сосъдъ же все продолжаетъ грохать, этотъ харкающій звукъ назойливо льзетъ въ уши, и вотъ уже чувствуетъ Ивановъ, какъ что то страшное, звъриное, мутное поднимается, растеть въ немъ, захлестываеть его. — Чертъ бы васъ взялъ съ вашимъ кашлемъ, — ядовитымъ, змъинымъ щопотомъ, не выдержавъ, говоритъ наконецъ Иваномъ. Онъ говорить эти слова окончательно пьяный отъ страшнаго напора совсъмъ необычной для него ненависти, и хоть и продолжаетъ смотръть на сцену, но отъ ярости и остервеньнія на этого раскашлявшагося господина въ Ивановь все такъ дрожитъ, что въ первыя мгновенія онъ еще не можетъ понять ни слова. И хотя Ивановъ сидитъ тихо, старается снова настроиться, снова вернуть прежнее настроеніе, но еще отчетливо чувствуеть, какъ только міновеніе тому назадъ въ немъ, въ Ивановъ, было только одно, съ трудомъ сдерживаемое желаніе: изничтожить, ударить этого нудно и долго кашлявшаго сосъда.

И воть я спрашиваю сбя: что-же является причиной столь мгновеннаго хищническаго осатаненія души этого юноши Иванова. Отвъть только одинь: чрезмърная возбужденность его души въ лучшихъ, въ человъчнъйшихъ и жертвеннъйшихъ чувствахъ. Но можетъ быть это не такъ, говорю я, можетъ быть, причина его озвърънія это кашель сосъда. Но, увы, этого не можетъ быть. Кашель не можетъ быть причиной уже по одному тому, что закашляйся этотъ сосъдъ, ну, хотя бы въ трамвав, или еще гдънибудь (гдъ Ивановъ находился бы въ нъсколько иномъ душевномъ состояніи), то ни въ какомъ случаъ добрый Ивановъ на него бы въ такой ужасной мъръ не озлобился. Такимъ образомъ, кашель въ данномъ случаъ является

только поводомъ къ разрядкъ того чувства, къ которому склоняло Иванова его внутреннее, его душевное состояніе

Но внутревнее, но душевное состояніе Иванова, каково оно могло быть. Предположимъ, что мы, говоря о томъ, что онъ испытывалъ возвышеннъйшія, человъчнъйшія чувства, — ошиблись. Поэтому откинемъ ихъ и попробуемъ приставить къ нему, къ Иванову, всъ остальныя, доступныя человъку въ театръ чувства, одновременно сличая, насколько эти иныя чувства могли бы склонить Иванова къ такой звъриной вспышкъ ненависти. Сдълать этотъ опытъ намъ тъмъ легче, ибо списокъ этихъ чувствъ (если отбросить ихъ нюансы), весьма невеликъ: намъ остается только предположить, что Ивановъ, сидя въ театръ, или 1) злобствовалъ вообще, или же 2) находился въ состояніи равнодушія и скуки.

Но если бы Ивановъ былъ бы озлобленъ еще до того, какъ началъ кашлять его сосъдъ, если бы Ивановъ сердился на актеровъ за ихъ дурную игру, или на автора за его безиравственную пьесу, или на самого себя за то, что истратиль на такой скверный спектакль последнія деньги, — развъ онъ почувствовалъ бы такой звъриный, такой дикій припадокъ ненависти къ закашлявшемуся сосъду. Конечно, нътъ. Въ худшемъ случав онъ почувствоваль бы досаду на кашлявшаго сосъда, можетъ быть, онъ даже пробормоталъ бы — ну, и вы тоже еще съ вашимъ кашлемъ, -- но такая досада еще ужасно далека отъ желанія ударить, изничтожить человъка, ненавидъть его. Такимъ образомъ, предположение о томъ, будто Ивановъ еще до кашля былъ сколько нибудь озлобленъ, и что эта-то его общая озлобленность склонила его къ такой острой вспышкъ ненависти, - мы принуждены отстранить какъ негодное. Поэтому откинемъ это и попробуемъ предположить другое.

Попробуемъ предположть, что Ивановъ скучалъ, что онъ испытывалъ равнодушіе. Можетъ быть эти чувства склонили его къ такому дикому припадку злобы на своего кашляющаго сосъда. Но это уже совсъмъ не идетъ.

Въ самомъ дѣлѣ, если бы душа Иванова была бы въ состояніи холоднаго безразличія, если бы Ивановъ, глядя на сцену, скучалъ, такъ развѣ онъ почувствовалъ бы потребность ударить сосѣда, ударить только потому, что тотъ закашлялся. Да не только онъ въ этомъ случаѣ не ощутилъ бы такого желанія, а весьма возможно, такъ даже пожалѣлъ бы этого больного, кашляющаго человѣчка.

Чтобы покончить теперь съ Ивановымъ, намъ остается только пополнить досадный пробълъ, который мы допустили при перечисленіи доступныхъ человьку въ театрь чувствъ. Дъло въ томъ, что мы не упомянули о (столь часто возникающемъ подъ вліяніемъ театральнаго двиства) чувствъ смъшливости, въ то время какъ оно-то, это чувство, особенно важно для нашего примъра. Оно важно намъ. ибо въ полной мъръ устраняетъ возможный упрекъ, будто злоба Иванова на своего кашляющаго сосъда была обоснована: кашель, дескать, мъшалъ ему слушать реплики актеровъ. Но развъ Иванову (находись онъ въ состояніи смъшливости), веселыя реплики актеровъ, возбуждающія эту смъшливость, были бы менъе интересны и важны, развъ онъ не съ такой же настойчивостью, какъ въ драмъ, къ нимъ бы прислушивался? А между тъмъ, въ этомъ случав никакой кашель, никакое сморканье и прочіе звуки сосъда, если бы даже они и мъшали, ни въ какой мъръ не возбудили бы въ немъ желаніе этого сосъда ударить.

Такимъ-то образомъ, силою вещей мы возвращаемся къ прежнему, еще ранъе высказанному прдположенію. Мы принуждены покорно признать, что только наисильнъйшая душевная растроганность, и, значитъ, возбужденное дрожаніе въ Ивановъ его жертвеннъйшихъ, человъчнъйшихъ чувствъ причиняютъ въ его душъ вылъзаніе этого неизмъннаго, хищнаго, звъринаго раздраженія.

Конечно, описанный здѣсь театральный случай нисколько не можеть еще разсчитывать на то, чтобы убѣдить хотя бы даже самаго довърчиваго изъ насъ. Вѣдь и въ самомъ дѣлѣ, справедливо ли говорить объ общей природѣ человѣческой души и приводить въ прмѣръ озлобленіе какого-то единичнаго Иванова съ его простуженнымъ сосъдомъ, брать примъръ явно исключительный, въ то время какъ тутъ же, въ театръ, сидитъ безъ малаго тысяча человъкъ, которые, такъ же, какъ и этотъ Ивановъ, подъ вліяніемъ тетральнаго дъйства прожили нъсколько часовъ въ высокомъ напряженіи ихъ лучшихъ душевныхъ силъ, — (поскольку, конечно, это театральное дъйство возбуждало не смъхъ, не веселье, не восхищеніе красивостью, — а душевную растроганность). Между тъмъ, достаточно намъ взглянуть на этихъ людей, на ихъ лица, — и во время антрактовъ и по окончаніи спектакля, и мы съ легкостью убъдимся, что люди эти нисколько не испытываютъ никакого тамъ осатанънія, ни на кого не злобствуютъ, и никого не хотятъ ударить.

На первый взглядъ это обстоятельство какъ будто бы здорово расшатываеть все наше зданіе. Въдь мы же высказали предположение, будто возбужденная растроганность человъчнъйшихъ и жертвеннъйшихъ чувствъ вывываеть въ людяхъ предрасположение къ хищному озлобленію, къ возникновенію низменнъйшихъ инстинктовъ. И воть передъ нами толпа театральныхъ зрителей, людей, которые подъ вліяніемъ театральнаго действа пережили возбужденность этихъ своихъ человъчнъйшихъ чувствъ, мы видимъ, мы наблюдаемъ ихъ лица и въ моменты, когда вспыхваетъ свътъ, и, въ особенности, когда они выходятъ изъ зданія театра, а между тімь не находимь въ нихъ ни твни не только озлобленія, но даже намека на него. Таково наше вившнее впечатлъніе, однако же, попробуемъ не удовлетвориться имъ, попробуемъ вникнуть глубже. Попробуемъ поставить вопросъ иначе и установить: не объясняется ли это отсутствее въ этихъ зрителяхъ какого-либо хищническаго инстинкта не потому вовсе, что его не было, а потому лишь, что звъриный этотъ иинстинктъ въ нихъ удовлетворенъ, — удовлетворенъ совершенно такъ же, какъ это случилось бы съ Ивановымъ, если бы онъ своего сосъда, а тотъ не оказалъ бы сопротивленія.

Въдь совершенно очевидно, что только тогда теат-

ральное действо вызываеть въ эрителе растроганность и возбужденность человъчнъйшихъ и лучшихъ чувствъ его души, — когда въ этомъ театральномъ действе участвуютъ персонажи людей сердечныхъ, честныхъ, и несмотря на испытываемыя страданія — кроткихъ. (По крайней мъръ, такъ воспринимаютъ участіе такихъ персонажей тъ изъ зрителей, души которыхъ наиболье непосредственны, виечатлительны и на которыхъ поэтому съ наибольшей отчетливостью можно наблюдать истинную природу душевнаго движенія). Очевидно также и то, что на сцень, наряду съ такими ангельскими и кроткими персонажами, непремънно воспрозводятся еще и типы коварныхъ элодъевъ. И вотъ спрашивается: это, постоянно наступающее въ концъ спектакля во имя торжества добродътели, кровавое и жесточайшее караніе влодвевь на сценв, не оно ли събдаетъ возникшіе въ насъ хищническіе инстинкты, и не выходимъ ли мы изъ театра кроткими и довольными не потому вовсе, что въ нашихъ душахъ не возникало никавихъ низменныхъ чувствъ, а потому лишь, что чувства эти получили удовлетвореніе. Въдь въ самомъ дъль, кто изъ насъ не признается въ томъ съ какимъ наслаждениемъ онъ крякаль, когда въ четвертомъ актъ нъкій добродътельный герой втыкаетъ ножъ въ сердце элодъя. — Однако, позвольте-ка, — можно здесь сказать, — да ведь это чувство справедливости. Противъ такого замъчанія спорить не приходится. Да, тысячу разъ, да, это чувство справедливости. Именно оно: божественное, возвышающее человъка чувство справедливости. Но до чего же оно, это возбужденіе въ нашей душь высшаго, человычныйшаго чувства, насъ довело: до наслажденія убійствомъ, до явъринаго элобствованія. — Да въдь противъ элодъевъ, — возразять насъ здъсь. Зто не важно, — отвътимъ мы, — а вотъ важно то, что кракать отъ удовольствія при видъ пролитія человъческой крови возможно только тогда, когда испытываешь кровожадность, элобу, ненависть, — и если эти низменнъйшія, если эти отвратительныя чувства возникли въ нашей душъ только потому, что разволновались наши человъчнъйшія чувства — любовь къ страдающему и кроткому герою, если эта дикая озвърълость наша тихонечко и незамьтно выльзла изъ растроганности нашихъ благороднъйшихъ чувствъ, которыя разбередилъ въ насъ театръ, — развъ не показываетъ это уже съ нъкоторой ясностью смутную, страшную природу нашихъ душъ.

Въ самомъ дълъ, достаточно въдь сдълать попытку показывать намъ въ театрахъ такія пьесы, въ которыхъ злодъи не только не наказываются, не только не гибнутъ, а напротивъ — торжествуютъ, — начните-ка намъ показывать пьесы, гдв торжествують худшіе и погибають лучшіе люди, и вы убъдитесь на дълъ, что подобныя зрълища въ концъ концовъ выведутъ насъ на улицу, доведутъ до бунта, до возстанія, до мятежа. Вы, можеть быть, и туть скажете, что мы взбунтуемся во имя справедливости, что нами руководить возбужденность въ нашихъ душахъ благороднъйшихъ, лучшихъ, человъчнъйшихъ чувствъ. Что жъ, вы правы, вы совершенно правы. Но посмотрите же на насъ, когда мы выйдемъ бунтовать, взгляните на насъ, когда мы, обуреваемые человъчнъйшими чувствами нашихъ душъ, возстанемъ, вглядитесь внимательно въ наши лица, въ наши губы, въ особенности въ наши глаза, и если вы и не захотите признать, что передъ вами разъяренные, дикіе звъри, то все же уходите скоръе съ нашей дороги, ибо ваше неумъніе отличить человъка отъ скота — можетъ стоить вамъ жизни.

И вотъ уже, какъ бы самъ собой, назрѣваетъ вопросъ: вѣдь вотъ такія театральныя пьесы, — пьесы, въ которыхъ побѣждаетъ порокъ и погибаетъ добродѣтель, вѣдь этакія пьесы — они же правдивы, вѣдь они же изображаютъ настоящую жизнь, вѣдь именно въ жизни случается такъ, что побѣждаютъ худшіе и погибаютъ лучшіе люди, — такъ почему же въ жизни мы, глядя на все это, остаемся спокойны и живемъ и работаемъ, — а когда эту же картину окружающей насъ жизни намъ показываютъ въ театрѣ, такъ мы возмущемся, озлобляемся, звѣрѣемъ. Не странно ли,

•то одна и та же картина, проходящая передъ глазами одного и того же же человъка, оставляетъ этого человъка въ одномъ случав (въ жизни) спокинымъ и равнодушнымъ, и возбуждаетъ въ немъ въ другомъ случав (въ театрв) возмущение, негодование, ярость. И не доказываетъ ли это наглядно, чго причину возникновения въ насъ тъхъ или иныхъ чувствъ, которыми мы реагируемъ на внѣшнее событие, нужно отыскивать отнюдь не въ характерв этого события, а всецъло въ состоянии нашей души. Такой вопросъ весьма существенный и на него слъдуетъ точно отъвътить.

Дъло, очевидно, въ томъ, что въ жизни мы подлы и неискренни, въ жизни насъ прежде всего безпокоитъ наше личное благоустройство, и поэтому-то въ льстимъ и помогаемъ, а подчасъ и сами воплощаемъ собой тъхъ самыхъ насильниковъ и элодъевъ, поступки рыхъ вызываютъ въ насъ такое ужасное негодование въ театрь. Въ театрь зато, эта личная заинтересованность, это подленькое устремление къ добыванию земныхъ благъ спадаетъ съ нашихъ душъ, въ театръ ничто личное не насилуетъ благородства и честности нашихъ чувствъ, въ театрѣ мы становимся душевно чище и лучше, и поэтому нами, нашими стремленіями и симпатіями, пока мы сидимъ въ театръ, всецъло руководятъ наши лучшія чувства справедливости благородства, человъчности. И вотъ тутъ то и напрашивается страшная мысль. Напрашивается мысль о томъ, что если въ жизни мы не возмущаемся, не негодуемъ, не возстаемъ, не звъръемъ окончательно и не убиваемъ, во имя попранной справедливости, людей, такъ это потому лишь, что мы подлы, испорчены, жадны и вообще плохи, - а что если бы въ жизни, какъ и въ театръ, мы распалили бы въ насъ наши человъчнъйшія чувства, если бы въ жизни мы стали бы лучше, такъ мы бы, - возбужденные дрожаніемъ въ нашихъ душахъ чувствъ справедливости и любви къ обиженнымъ и слабымъ, — свершили бы, или почувствовали бы желаніе свершить (что ръшительно все равно, посколько мы говоримъ о душевныхъ движеніяхъ),

такое количество элодъяній, кровопролитій, пытокъ и мстительнъйшихъ убійствъ, какихъ никогда еще не совершалъ, да и не хотълъ свершить ни одинъ, даже самый ужасный элодъй, руководимый цълью обогащенія и наживы.

И невольно въ насъ поднимается желаніе обратиться ко всѣмъ будущимъ Пророкамъ человѣчества и имъ сказать: — Милые и добрые Пророки! Не трогайте вы насъ, не распаляйте вы въ нашихъ душахъ возвышенныхъ человѣчнѣйшихъ чувствъ, и не дѣлайте вообще никакихъ попытокъ сдѣлать насъ лучше. Ибо видите вы: пока мы плохи — мы ограничиваемся мелкимъ подличаньемъ, — когда становимся лучше — мы идемъ убивать.

Поймите же, добрые Пророки, что именно заложенныя то въ нашихъ душахъ чувства Человвчности и Справедливости и заставляютъ насъ возмущаться, негодовать, приходить въ ярость. Поймите, что если бы мы лишены были чувствъ Человвчности, такъ мы бы вовсе и не негодовали бы, не возмущались. Поймите, что не коварство, не хитрость, не подлость разума, а только Человвчность, Справедливость и Благородство Души принуждаютъ насъ негодовать, возмущатсья, приходить въ ярость и мстительно свирвпвть. Поймите, Пророки, что механизмъ нашихъ человвческихъ душъ — это механизмъ качелей, гдв отъ наисильнвйшаго-то взлета въ сторону Благородства Духа и возникаетъ наисильнвйшій отлетъ въ сторону Ярости Скота.

Это стремленіе взвить душевныя качели въ сторону Человічности и неизмівнно вытекающій изъ него отлеть въ сторону Звіврства, проходить чудесной и въ то же время кровавой полосой сквозь всю исторію человічества, и мы видимь, что какъ разъ ті особенно темпераментныя эпохи, которыя выдівляются исключительно сильными и осуществленными въ дібиствіи взлетами въ сторону Духа и Справедливости, кажутся намъ особенно страшными въ силу перемежающихся въ нихъ небывалыхъ жестокостей и сатанинскихъ элолівйствъ.

Подобно медвъдю съ кровавой, развороченной башкой толкающаго висячее на бичевъ бревно и получающаго тъмъ болъе страшный ударъ, чъмъ сильнъе онъ его толкаетъ, — человъкъ изнываетъ и уже устаетъ въ этомъ качаніи своихъ душъ.

Человъкъ изнываетъ въ этой борьбъ и какой бы онъ исходъ ни избралъ: продолжатъ ли раскачивать это бревно, чтобы при какой-нибудь особо сильной раскачкъ окончательно разворотить себъ башку, — или же остановить душевныя качели, существовать въ холодной разумности, въ бездушіи, слъдовательно въ безчеловъчіи и такимъ образомъ въ полной утратъ теплоты своего облика, — и тотъ и другой исходы предопредъляютъ полное завершеніе Проклятія, которымъ является для насъ это странное, это страшное свойство нашихъ человъческихъ душъ.

Когда въ домъ становилось тихо, на письменномъ столъ горъла зеленая лампа, а за окномъ была ночь, — съ настойчивымъ постоянствомъ возникали во мнъ эти мысли, и были они столь же разрушительны для моей воли къ жизни, сколь разрушителенъ для моего организма былъ этотъ бълый и горькій ядъ, который въ аккуратныхъ порошкахъ лежалъ на диванъ и возбужденно дрожалъ въ моей головъ.

5.

Боярская палата, стулья, торжественные отъ непомврно высокихъ спинокъ, низкіе своды и во всемъ этомъ какой-то мрачный гнетъ. Собирались гости, всв очень торжественно разодвтые, и разсаживались вокругъ стола, крытаго краснымъ бархатомъ, на которомъ стояло золотое блюдо съ необщипаннымъ лебедемъ. Рядомъ со мною за столомъ помвстилась Соня и я зналъ, что мы справляемъ нашу свадьбу. Хотя сидввшая рядомъ со мною женщина нисколько не напоминала Соню, однако, я зналъ, что это она. Вдругъ, когда всв уже разсвлись, и я все недоумввалъ, какъ это будутъ рвзать и всть необщипаннаго лебедя, въ палату вошла моя мать. Она была въ затасканномъ платъъ, въ туфляхъ. Съденькая головка ея тряслась, лицо желтое, исхудавшее, только глаза, безсонные, какъто нехорошо бъгающіе, все искали меня. Она все шла на меня и, когда, наконецъ, издали увидъла меня и мутные глаза ея стали страшными и радостными, я сдълалъ ей знакъ, чтобы не подходла, что неудобно мнв съ нею здъсь знаться, -- и она поняла. Жалко улыбаясь. маленькая. ссохшаяся, она бочкомъ съла къ столу. Между тъмъ блюдо съ лебедмъ убрали и въ красныхъ ливреяхъ и бълыхъ перчаткахъ лакеи, — одни разставляли приборы, другіе разносили блюда съ какими-то кушаньями. Когда лакей, обносившій гостей, приблизился къ моей матери, онъ такъ же поднесъ и ей, но оглядъвъ ея платье, хотълъ отойти. Однако, мать уже захватила лопатку съ блюда и стала накладывать себь на тарелку. Я замеръ, — что если остальные гости обратять на нее глаза. Между тъмъ мать все накладывала себъ на тарелку, лакей дълалъ недоумъвающее, заставлявшее меня все больше страдать, лицо, и когда на тарелкъ матери появилась цълая гора — онъ нахально отнесъ отъ нея блюдо, оставивъ въ ея рукахъ лопатку. Мать повернулась, хотъла то-ли положить лопатку на блюдо, то-ли взять еще, но увидьла, что блюда нътъ, что его убрали, стала этой лопаткой всть. Въ ней вдругъ все какъто низменно измънилось. Она начала глотать не по силамъ, быстро, жадно. Глаза ея нехорошо бъгали, остренькій старушечій подбородокъ леталъ вверхъ и внизъ, морщины на лбу стали влажны. Она стала вдругъ не такой, какъ всегда, стала какой-то обжорливой, чуть-чуть противной. Жадно всовывая пищу, она въ скверномъ наслажденіи все повторяла — ахъ, какъ фкусне, ахъ, фкусне. И вотъ я началъ испытывать новое чувство къ матери. Я вдругъ почувствовалъ, что она живая, что она плотъ. Я вдругъ почувствовалъ, что любовь ея ко мнъ — это только малая толика ея чувствъ, потому что помимо этой любви у нея, какъ у каждаго человъка, есть кишечникъ, артеріи, кровь и половые органы, и что мать любить, не можеть не любить это свое физическое тъло гораздо больше ме-

ня. Тутъ на меня навалилась такая тоска, такое одиночество жизни, что мнв захотвлось стонать. Между тъмъ, мать, съввъ все, что было на тарелкв, начала безпокойно поерзывать на свомъ стуль. Хотя никакихъ словъ не было сказано, но всъ сразу поняли ,что у нея испортился желудокъ и ей необходимо выдти. Лакей, улыбаясь, и этой улыбкой показывая, что уважение его къ этой жалкой старухъ недостаточно сильно, чтобы оставаться серьезнымъ, а собственное достоинство слишкомъ велико, чтобы громко расхохотаться, рукою въ бълой перчаткъ приглашалъ ее пройти въ дверь. Мать приподнялась, съ трудомъ опираясь о столъ. Въ это время всъ уже обратили вниманіе и начали смъяться. Смъялись всъ. Смъялись гости, смъялись лакеи, смъялась Соня, и въ мучительномъ презръніи къ самому себъ смъялся и я. Мимо этого стола, мимо этихъ жестоко смъющихся ртовъ и глазъ, и мимо меня, тоже смъющагося, этимъ смъхомъ отчуждающаго себя отъ нея, должна была пройти моя мать. И она прошла. Маленькая, сгорбленная, трясущаяся, она прошла, тоже улыбаясь, но улыбаясь униженно и жалко, какъ бы прося прощенія за слабость ея старческаго, уже безсильнаго тыла. того какъ мать ушла, наступило затишье. Всв еще улыбались лакеи, смвялась Соня, и въ мучительномъ презрвніи отголосокъ случившагося, а какъ предчувствіе того, что еще произойдетъ. И вотъ я слышу, что у двери стоитъ военная стража съ винтовками съ наставленнымие штыками. За стражей въ глубинъ стоитъ мать. Она хочетъ пройти, хочетъ приблизиться ко мнв, но ее не пускають. — Мой мальчикъ, мой Вадя, мой сынъ, — все повторяетъ она и хочетъ пройти. Я смотрю туда, мои глаза встрвчаются съ глазами матери, наши взгляды любовно скрещиваются. другь друга зовуть и мать движется ко мнв. стражникъ съ винтовкой дълаетъ прыгающее и штыкъ замъчательно мягко входить въ животъ матери. — Мой мальчикъ, мой Вадя, мой сынъ, — спокойно говорить она, держится за проткнувшій ее штыкъ и улыбается. И въ этой улыбкъ все: и то, что она знаетъ, что это по

моему приказу ее не пускали ко мнь, и то, что она умираетъ, и то, что не сердится на меня, что понимаетъ меня, понимаетъ, что такую, какъ она, любить невозможно. Больще я не могъ выдержать. Я рванулся изъ последнихъ силъ, изнутри что-то непріятно дернулось во мнв и я проснулся. Была глухая ночь. Я лежалъ одътымъ на диванъ. На столъ подъ зеленымъ колпакомъ горъла лампа. Я сълъ, спустилъ ноги и миъ стало вдругъ страшно. Миъ стало страшно такъ, какъ бываетъ страшно только взрослымъ, несчастнымъ людямъ, когда внезапно, среди ночи, проснувшись, человъкъ начинаетъ вдругь сознавать, что вотъ только сейчасъ, въ эту ночную минуту, когда кругомъ и нътъ никого подлъ него, онъ проснулся не только отъ видъннаго сна, но и ото всей той жизни, которой жилъ последнее время. — Что творится со мною здесь, въ этомъ ужасномъ домъ? Зачъмъ я здъсь живу? Что это за мысли, которыми я бредиль въ этой комнать? Я сидъль на дивань, трясся отъ холода этой нетопленной, уже недълями неубиравшейся комнаты, а мои губы шептали слова, на которыя не нужно было отвъта, потому что одновременно во мнъ, возникали образы, туманные и страшные, и смотръть на нихъ было такъ жутко, что одна моя рука все сильнье, все крыче сжимала другую. Такъ просидълъ я долго. Потомъ, вытащивъ одну руку изъ другой (она была такъ сдавлена, что пальцы слиплись), сталъ надъвать ботинки. Это было трудно, поски на мив совсемъ прогнили, отъ ногъ шелъ ужасный запахъ, шнурки были разорваны, всь въ узлахъ. Чувствуя отвращение къ самому себь отъ своей нечистоплотности и липкости, я всталъ на ноги, надълъ еще пальто, фуражку, калоши, поднялъ воротникъ, и только когда покошелъ къ столу, чтобы потушигь лампу, принужденъ былъ присъсть отъ внезапной слабости. Присъвъ, сразу почувствовалъ доходящую до дурноты сердечную усталость, преодольвая ебя протянуль руку, потушилъ лампу, посидълъ такъ немного въ темнотъ и когда, наконецъ, всталъ, то дурнота и слабость уже отпустили, и уже съ нъкоторой легкостью я вышель изъ комнаты и

ощупью спустился въ прихожую. Не зажигая огня, я добрался до выходной двери, осторожно отомкнулъ и еле удержалъ, — такъ ее рвануло. Ледяной вътеръ мчалъ сквозь переулокъ. Въ пустынной дали близъ желтыхъ фонарей видно было, какъ съ оконъ, съ заборовъ и крышъ вьюжило сухимъ снъгомъ. Задыхаясь отъ вътра, напрягая спину отъ холода, я отчаянно зашагалъ и еще не дошелъ до конца переулка, гдъ начиналась площадь, какъ уже почувствоваль, что шибко смерзь. На площади горъль костеръ. Вътеръ, дралъ его пламя, какъ рыжіе дымно выщелкивалъ искры. Рядомъ на рельсахъ дрожало розовое серебро. Напротивъ, весь домъ свътился, а тънь отъ низкаго фонарнаго столба взлетала на высоченную крышу. Около костра, не двигаясь съ мъста, бъжалъ тулупъ, то хватая, то выпуская себя изъ объятій. Я шелъ быстро, все ускоряя шаги. Подъ моими калошами, словно подъ мчащимся поъздомъ, снъгъ лился, какъ молоко изъ ведра. На длинной улиць, по которой я теперь шель, вътеръ сникъ. Отъ луннаго свъта улица была ръзко раздълена на двъ части, — на чернильно черную и нъжно изумрудную, и идя по тъневой сторонъ, мнъ забавно было смотрьть, какъ тынь отъ моей головы, вылызая изъ черной границы, катилась посреди мостовой. Самой луны мнв не было видно. Но поднимая голову, я видълъ, какъ она бъжала по окнамъ верхнихъ этажей, поочередно загораясь въ стеклахъ зелеными вспышками. Такъ, углубленный въ себя, я не обращалъ вниманія на улицы, по которымъ шелъ, сворачивалъ, руководимый инстинктомъ, съ одной на другую, какъ вдругъ замътилъ, что уже приближаюсь къ воротамъ того дома, въ которомъ жила моя мать. Взявшись за ввонко вихляющее кольцо, растворивъ калитку и на черномъ снъгу разливая зеленый четыреугольникъ съ чернымъ пятномъ моей твии посерединв, — я вошелъ во дворъ. Луна была теперь гдв-то высоко позади. И высокія сплошныя ворота чернымъ полемъ залегли далеко вдоль узкаго двора. Только тамъ, гдъ кончалась ограда садика, все было залито стекляннымъ зеленымъ свътомъ. Въ полось этого свыта мны стало колодно. Взойдя по ступенямы на крыльцо, я остановился. На тяжелой двери мъдная ручная ручка ослъпительно сверкала. Отъ шлифованной грани стекла узкая полоска свъта лежала на ступенькахъ лъстницы. Когда, постоявъ, я дернулъ за дверную ручку, полоска эта только чуть дрогнула: дверь была заперта. Будить Матвъя я счелъ неудобнымъ и поэтому, сбъжавъ съ крыльца, завернулъ въ темный и сырой туннель подъ домомъ, выходившій на мусорную площадку, откуда шелъ въ квартиры черный ходъ. На площадкъ этой и теперь были разбросаны щепы и березовая кора. Здъсь всегда дворникъ кололъ дрова, вкусно щелкалъ топоромъ, складываль ихъ въ охапку на помойномъ ящикъ, гдъ, связавъ заранъе подложенной веревкой, грузно закидываль за спину и, тяжко шаркая, всходилъ къ кухнямъ. При этомъ веревка връзалась въ плечо, а обмотанные ею пальцы — съ одной стороны кроваво вспухали, съ другой обезкровливались до бълыхъ суставовъ. Я поднимался теперь по этой темной, пахнущей котами, лестнице, держался за узкія жельзныя перила, и мнь вспомнилось время, когда этихъ мусорныхъ ящиковъ еще не было. Мнъ вспомнился день. это было льтомъ, когда со двора вдругь раздался грохотъ, очень похожій на театральный громъ, и какъ тутъ же изъ этихъ сброшенныхъ съ подводы жестяныхъ листовъ выръзарывались мусорные ящики. Потомъ, уже къ вечеру, ихъ пронзительно сколачивали, и мнв все казалось, будто на сосъднемъ дворъ дълаютъ то же, такъ остро стукало эко о ближайшій домъ. Когда это случилось? И сколько тогда мнъ было лътъ? Въ совершенной темнотъ поднимансь теперь все выше по вонючей лъстницъ и не кчитая, сколько мною пройдено площадокъ, я, миновавъ одну изъ нихъ и завернувъ и поднимая выше, вдругъ почувствовалъ въ икрахъ ту странную, словно непускающую дальше, усталость, которая сразу сказала мнъ, что на только что пройденной площадкъ находилась дверь нашей квартиры. Спустившись и съ нъкоторымъ трудомъ сообразивъ, съ которой стороны находится нужная мнв дверь, я подошель и

только хотвлъ постучать и уже приготовилъ лицо, чтобы встрвтить няньку, когда замвтилъ, что дверь-то не заперта, а только чуть прикрыта. — Можетъ быть, она на цвпочкв, — подумалъ я, но только тронулъ рукой, — какъ дверь легко и безъ скрипа раскрылась. Передо мной была наша кухня. Хотя и здвсь было очень темно, но то, что это именно наша квартира, я уже зналъ по стуку кухонныхъ часовъ, которые шли по особенному, съ заскокомъ какъ хромой по лвстницв: два раза быстро, точка, и опять — разъ-разъ.

Все, что происходило дальше въ этой ночной, словно покинутой квартиръ, стало какимъ-то страннымъ, при чемъ я отчетливо чувствоваль, что странность эта началась или быть можетъ усилилась, какъ разъ съ той минуты, какъ я проникъ въ корридоръ. Такъ, остановившись передъ дверью моей бывшей комнаты, я не помниль и не зналь — заперъ ли за собою кухонную дверь, даже не могъ вспомнить, быль ли въ замкъ ключъ. Точно такъ же, прокравшись въ столовую, я уже не могь сообразить, до какого мъста я шелъ спокойно и откуда же началъ продвигаться, крадучись. Стоя теперь въ столовой, стараясь не дышать, я еще помнилъ, что дверь въ мою комнату оказалась запертой, но почему я такъ ужасно торопился уйти отъ двери, почему такъ тревожился, такъ боялся, что нибудь меня тамъ застанетъ, — этого сообразить я теперь уже не быль въ силахъ.

Въ столовой было очень тихо. Часы не шли. Въ смутной тьмъ я видълъ только, что на объденномъ столъ нътъ скатерти, и что дверь въ спальню матери открыта. И изъ этой-то раскрытой двери шелъ на меня страхъ. Я стоялъ неподвижно, стоялъ долго, не переставляя ногъ, и мнъ уже казалось, что я или во мнъ что то медленно шатается. Я уже былъ въ совершенномъ ръшеніи уйти отсюда и вернуться утромъ, я уже готовъ былъ двинуться обратно въ корридоръ (все больше страшась того испуга, который возбудитъ въ моей матери эта внезапность моего ночного прихода), — какъ вдругъ изъ спальни явственно послышался шорохъ, и тутъ же точно дернулъ меня кто другой за шну-

рокъ, я отрывисто позвалъ: мама? мама? — Но шорохъ не повторился. И мнѣ никто не отвѣтилъ. Я еще хорошо помню, что какъ только я позвалъ — лицо мое зачѣмъ-то сложилось въ улыбку.

Хотя, собственно, за эту минуту решительно ничего особеннаго не произошло, но теперь, послъ того какъ я подаль голось, мив уже показалось совершенно невозможнымъ уйти и вернуться лишь утромъ. Стараясь ступать какъ можно тише, я двинулся дальше, потушилъ блистаюшую точку на самоваръ, обогнулъ столъ, и, придерживаясь за спинки стоявшихъ вокругъ него стульевъ, прокрался въ спальню. Гардины были раскрыты. Медленно, крадучись, я добрался до середины комнаты. Однако, теперь передъ моими глазами стало такъ страшно темно, что невольно я обернулся къ окну. Лунный свътъ билъ въ него, но внутрь нисколько не проникаль. Лаже на подоконникъ и складки шторъ не ложился. Спинка кресла, на которомъ всегда сидъла и вышивала мать, четкимъ пнемъ чернъла передъ стекломъ. Когда я отвернулся отъ окна, то передъ глазами стало еще темнье. Теперь я зналь, что стою примърно въ двухъ шагахъ отъ постели. Я слышалъ, какъ бъется мое сердце и уже какъ будто чувствовалъ теплый запахъ спящаго вблизи меня тъла. Я все еще стоялъ, затаивъ дыхані. Уже нъсколько разъ я раскрывалъ ротъ, котя для того, чтобы сказть «мама», раскрывать его было совсымь не нужно. Но, наконедъ, ръшился и позвалъ: мама? мама? Зовъ мой на этотъ разъ вышелъ какой-то задыхающійся. тревожный. Никто не отрытилъ. Но какъ будто звуки, которые я издаль, сдълали это возможнымъ: я приблизился къ кровати и ръшилъ осторожно присъсть въ ногахъ матери. Садясь и стараясь при этомъ не производить шума, чтобы не грохнули пружины, я сперва оперся ладонями о постель. И сразу почувствоваль подъ пальцами тотъ кружевной покровъ, который оставался на постели только днемъ. Постель была не раскрыта, пуста. Сразу исчезъ теплый запахъ спящаго вблизи твла. Но я все-таки присълъ, повернулъ голову къ шкапу, и вотъ тутъ-то, наконецъ, увидълъ мать. Ея голова была высоко, у самой верхушки шкапа, тамъ, гдъ кончалась послъдняя виньетка. Но зачемъ же она туда взобралась и на чемъ она стоитъ. Но въ то же мгновеніе какъ это возникло въ моей головь, я уже ощутилъ отвратительную слабость испуга въ ногахъ и въ мочевомъ пузыр в. Мать не стояла. Она висвла — и прямо на меня глядъла своей сърой мордой удавленницы. — А-а, — закричалъ и и побъжалъ изъ комнаты, словно меня хватють за пятки, — а-а, — дико закричаль я, воздушно пролетая по столовой и въ то же время чувствуя, что сижу, что медленно приподымаю со стола мою затекшую голову и съ трудомъ просыпаюсь. За окномъ уже брезжилъ поздній, зимній разсвіть. Я сиділь за столомь въ пальто и въ калошахъ, шею и ноги простудно ломило, фуражка лежала на сальной тарелкъ, а горло мое было наполнено комкомъ горькихъ, невыплаканныхъ слезъ

6

Черезъ часъ я уже поднимался по лестнице и какъ только увидьль знакомую и милую дверь, такъ тотчасъ почувствовалъ радостный трепеть. Я подошель и тихонько, чтобы особенно не обезпокоить, коротко позвониль. улицы доносился шумъ, — съ грохотомъ и сотрясая стекла, прокатилъ грузовикъ. Внизу очень ръзко, по утреннему, зазвонилъ телефонъ. Дверь не открывалась. Тогда я ръшился еще разъ нажать звонокъ и прислушался. Въ квартиръ было тихо, ничто не двигалось, будто тамъ теперь никто не живетъ. — Боже мой, — подумалъ я, — неужели здъсь что-нибудь случилось. Неужели здъсь что-то не въ порядкъ. Что же будетъ тогда со мною. И я нажалъ пуговицу звонка, нажалъ съ отчаяніемъ и изо всей силы, и жалъ, и давилъ, и трезвонилъ до тъхъ поръ, пока въ концъ корридора не послышались шаркающіе шаги. Шаги приблизилсь къ двери, подошли къ ней вплотную, стало слышно, какъ руки возятся съ замкомъ и, наконецъ, дверь отомкнулась. Я радостно и облегченно вздохнулъ.

Мои опасенія оказались напрасны: передо мною въ открытой двери, живой и здоровый, стояль самъ Хирге. — Ахъ, это вы, — сказалъ онъ съ лѣнивымъ отвращеніемъ, — а и-то ужъ думалъ и впрямь человѣкъ пришелъ. Ну, что жъ заходите. И я зашелъ.

На этомъ кончаются, точные — обрываются записки Вадима Масленникова, котораго въ январьскій морозъ 1919-го года, въ бредовомъ состояніи, доставили къ намъ въ госпиталь. Будучи приведенъ въ себя и освидътельствованъ, Масленниковъ признался, что онъ кокаинистъ, что уже много разъ пытался съ собою бороться, но всегда безуспешно. Путемъ упорной борьбы ему, правда, удавалось воздерживаться отъ кокаина въ продолжение мъсяца, двухъ, иногда даже трехъ, послъ чего неизмънно наступалъ рецидивъ. По его признанію выходило, что тяга его къ кокаину теперь тъмъ болье бользненна, что за посладнее время кокаинъ вызываетъ въ немъ уже не возбуженіе, какъ это было раньше, а только психическое раздраженіе. Точнье говоря, если первое время кокаинъ способствоваль четкости и остроть сознанія, то теперь онь причиняетъ спутанность мыслей при безпокойствъ, доходящемъ до галлюцинаціи. Такимъ образомъ, прибъгая къ кокаину теперь, онъ постоянно надвется возбудить въ себь ть первыя ощущенія, которыя когда-то кокаинъ ему далъ, однако, каждый разъ съ отчаяніемъ убъждается, что ощущенія эти ни при какой дозировкъ больше не возни-каютъ. На вопросъ Главврача — почему же онъ все-таки прибъгаетъ къ кокаину, если заранъе знаетъ, что послъдній возбудить въ немъ только психическое мучительство, — Масленниковъ дрожащимъ голосомъ сравнилъ свое душевное состояніе съ состояніемъ Гоголя, когда полъдній пытался писать вторую часть своихъ Мертвыхъ Душъ. Какъ Гоголь зналъ, что радостныя силы его раннихъ писательскихъ дней совершенно исчерпаны, и все-таки каждодневно возвращался къ попыткамъ творчества, каждый разъ убъждаясь въ томъ, что оно ему недоступно, и все же (гонимый сознаніемъ, что безъ этого радостнаго горънія — жизнь теряетъ для него смыслъ) эти попытки, несмотря на причиняемое ими мучительство, не только не прекратилъ, а даже напротивъ, ихъ учащалъ, — такъ и онъ, Масленниковъ, продолжаетъ прибъгать къ кокаину, хоть и знаетъ заранъе, что ничего, кромъ дикаго отчаянія, онъ уже возбудить въ немъ не можетъ.

При освидътельствованіи Масленникова на лицо были всъ симптомы хроническаго отравленія кокаиномъ: разстройство желудочнокишечнаго канала, слабость, хроническая безсонница, апатія, истощеніе, особая желтая окраска кожи и рядъ нервныхъ и видимо психическихъ разстройствъ, наличіе которыхъ несомнънно имълось, но точное установленіе которыхъ требовало болье длительнаго наблюденія.

Было очевидно, что оставлять такого больного у насъ, въ военномъ госпиталь, совершенно безсмысленно. Это соображение нашъ Главврачъ, человъкъ чрезвычайной нъжности, ему тутъ же и высказалъ, причемъ, явно страдая отъ невозможности помочь, еще добавилъ, что ему, Масленникову, необходимъ не госпиталь, а хорошая психіатрическая санаторія, попасть въ которую, однако, въ нынъшнее соціалистическое время не такъ то легко. Ибо теперь, при пріемъ больныхъ, руководствуются не столько бользой, которую этотъ больной принесъ, или, на худой конецъ, принесетъ революціи.

Масленниковъ слушалъ мрачно. Его набухшее въко зловъще прикрывало глазъ. На заботливый вопросъ
Главврача — нътъ ли у него родственниковъ или близкихъ, которые могли бы ему оказать протекцію, — онъ
отвъчалъ, что нътъ. Помолчавъ, онъ добавилъ, что матушка его скончалась, что старая нянька его, героически
помогавшая ему все это время — теперь сама нуждается

въ помощи, что одинъ его однокашникъ, Штейнъ, недавно вывхалъ за границу, а мъстонахождение двухъ другихъ— Егорова и Буркевица — ему неизвъстно.

Когда онъ произнесъ послъднее имя — всъ переглянулись. — Товарищъ Буркевицъ, — переспросилъ Главврачъ, — да въдь это же наше непосредственное начальство Да въдь одного его слова достаточно, чтобы васъ спасти!

Масленниковъ долго разспрашивалъ, видимо боясь, не недоразумъніе-ли все это, не однофамилецъ-ли. Онъ былъ очень взволнованъ и, кажется, радостенъ, когда убъдился, что этотъ товарищъ Буркевицъ тотъ самый, котораго онъ знаетъ. Главврачъ указалъ ему, что учрежденіе, руководимое товарищемъ Буркевицемъ, находится на той-же улицъ, что и нашъ госпиталь, но что придется только подождать до утра, такъ какъ сейчасъ, вечеромъ, онъ врядъ ли кого застанетъ. На этомъ Масленниковъ, отклонивъ предложеніе переоночевать въ госпиталъ, — ушелъ.

На слъдующее утро, часу въ двънадцатомъ, три курьера того учрежденія, гдъ работалъ товарищъ Буркевицъ, внесли Масленникова на рукахъ. Спасать его однако было уже поздно. Намъ оставалось только констатировать острое отравленіе кокаиномъ (несомнънно умышленное, — кокаинъ былъ видимо разведенъ въ стаканъ воды и выпитъ) и смерть отъ остановки дыханія.

На груди, во внутреннемъ карманѣ Масленникова, были найдены: 1) старый коленкоровый мѣшечекъ, съ зашитыми въ немъ десятью серебряными пятачками, и 2) рукопись, на первой ктраницѣ которой, крупными и безобразно скачущими буквами были нацарапаны два слова: «Буркевицъ отказалъ».

	стр
Гимназія	5
Соня	56
Кокаинъ	103
Мысли	137

Achevé d'imprimer le 15 décembre 1983 sur les presses de l'imprimerie Corbière et Jugain, Alençon (Orne). Dépôt légal : décembre 1983

М.АГЪЕВЪ

РОМАНЪ СЪ КОКАИНОМЪ

ГИМНАЗІЯ

Буркевицъ отказалъ.

1.

Однажды, въ началъ октября, я — Вадимъ Масленниковъ (мнъ шелъ тогда шестнадцатый годъ), рано утромъ, уходя въ гимназію, забылъ съ вечера еще положенный матерью въ столовой конвертъ съ деньгами, которые нужно было внести за первое полугодіе. Вспомнилъ я объ этомъ конвертъ, уже стоя въ трамваъ, когда отъ ускоряющагося хода — акаціи и пики бульварной ограды изъ игольчатаго мельканія вошли въ сплошную струю, и нависавшая мнв на плечи тяжесть все твенве прижимала спину къ шиккелированной штангъ. Забывчивость моя, однако, нисколько меня не обезпокоила. Деньги въ гимназію можно было внести и завтра, въ домъ-же стащить ихъ было некому; кромв матери въ квартирв жила за прислугу лишь старая нянька моя Степанида, бывшая въ домъ уже больше двадцати лътъ, и единственной слабостью, а можеть быть даже страстью которой, были ея безпрерывныя и звонкія, какъ щелканья подсолнуховъ, шушуканья, при помещи которыхъ, за неимъніемъ собесъдниковъ, вела она сама съ собой длиннъйшіе разговоры, а подчасъ даже и споры, изръдка прерывая себя громкими, въ голосъ, восклицаніями, какъ-то: «нуда»! или «еще бы»! или «открывай карманъ шире»! Въ гимназіи же я объ этомъ конверть и вовсе забыль. Въ